

- ❖ M. Lermontow. „Drei Palmen“. Übersetzt: Melitte Neumann.
- ❖ Михаил Бутов. Рассказы из новой книги малой прозы.
- ❖ Александр Костюнин. Дагестан. Из дневника поездки.
- ❖ Райнер Мария Рильке. Теодор Фонтане. Из новых переводов.
- ❖ Сергей Кулаков. Индийские фансигары или загадочная секта убийц.

18-19

СТУДИЯ

Berlin * Hannover * Москва

STUDIO



НЕЗАВИСИМЫЙ РУССКО-НЕМЕЦКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ
UNABHÄNGIGE RUSSISCH-DEUTSCHE LITERATURZEITSCHRIFT

СТУДИЯ

STUDIO

18-19

Berlin * Hannover * Москва

2014

Редактор журнала
Александр ЛАЙКО

Редакционная коллегия:

Антонина КУДРЯВИЦКАЯ, Марина НАУЙОКС,
Вадим ФАДИН, Виталий ШНАЙДЕР

Художник: Маргарита РЁШ

Redakteur:
Alexander Laiko

Redaktion:
Antonina Kudrjawizki, Marina Naujoks,
Vadim Fadin, Vitaly Shnayder

Layout
Design: Margarite Rösch

STUDIO - ZEITSCHRIFT

ISBN ISBN: 978-3-941352-67-4

Адрес журнала «Студия / Studio»: studiozeitschrift@yahoo.de

СОДЕРЖАНИЕ:

Проза – Prosa

Михаил Бутов. Рассказы	7
Наталья Резник. Короткие рассказы	39
Артём Татаринов. Когда идет дождь. Рассказ	47
Нина Турицына. Кавалеры приглашают дам. Рассказ	59
Виктория Жукова. Летний день. На тротуаре. Рассказы	156
Алла Мелентьева. Рассказ	183

Поэзия – Poesie

Ирина Скубенко. Стихи. Предисловие Марины Науёк	33
Алексей Борычев. Стихи	43
Ульяна Шереметьева. Стихи	66
Семен Гринберг. Стихи	126
Максим Дубаев. Стихи. Зеркала	142
Альфред Ходорковский. Стихи	159
Вадим Гройсман. Стихи	169

Переводы – Übersetzungen

Райнер Мария Рильке, Теодор Фонтане. Стихи. Перевод с немецкого Виталия Шнайдера	154
Васыл Махно, Петро Мидянка, Богдан Антонович. Аркадий Штыпель, переводы с украинского	109
М. Ю. Лермонтов. Стихи. Перевод с русского на немецкий Мелиты Нойман	5

Интеграция – Integration

Григорий Аросев. Главы из романа	117
Евгений Никитин и Алёна Чурбанова. Рассказы	162
Анатолий Николин. Увольнительная. Эссе	167

Вчера и сегодня – Gestern und heute

Ольга Мельникова. Тярпи, Зося як пришлось. Воспоминания	76
Дмитрий Хмельницкий. Как строили мавзолей Ленина Из истории архитектуры	174

Писатель и время – Der Schriftsteller und die Zeit

Вадим Фадин. В пользу романа	69
Натаалья Филимошкина. Всё серьезно, даже больше. О книге Романа Сенчина «Елтышевы»	149
Евгений Минин. Пародии	190

*На перекрестках истории –
Kreuzwege der Geschichte*

Александр Костюнин. Дагестан. Из дневника поездки	50
Сергей Кулаков. Индийские фансигары, или Загадочная секта убийц	133
Коротко об авторах	193

На тыльной стороне обложки –
«Соседка». Рисунок школьницы Ребекки Молих (Дания)

Mikhail Lermontow

Перевод Melitte Neumann

DREI PALMEN

Einst wuchsen im heißen, arabischen Land
Drei herrliche Palmen im treibenden Sand.
Ein Bächlein benetzte die Erde beständig,
Umspülte die Wurzeln und hielt sie lebendig.
Die Blätter beschirmten den rauschenden Bach
Vor Sonne und Wind wie ein schützendes Dach.

So fließen die Jahre. Jahrzehnte vergeh'n.
Doch noch hat kein Mensch diese Schönheit geseh'n.
Kein Pilger hat je von dem Wasser getrunken,
Ist müde im Schatten hernieder gesunken.
Zu welken begann schon das schützende Dach,
Vertrocknen die Blätter, versiegen der Bach.

Die Palmen begannen zu hadern mit Gott:
„Wir fragen das Schicksal, sind wir denn zum Spott
Gestellt in die Sonne, auf glühende Erde,
Wozu sind wir nützlich, was soll aus uns werden?
Wir wuchsen und blühten, gediehen nicht schlecht.
Dein heiliges Urteil wird uns nicht gerecht.“
Und als sie verstummten und senkten ihr Haupt,
Da sah man fernab eine Wolke aus Staub.
Im gleißenden Licht über goldne Barchane
Bewegte sich eine Kamelkarawane
Mit wiegenden Schritten wie Schiffe im Meer.
Der Wind trug das Klingeln der Glöckchen daher.

Und zwischen den Höckern hoch oben ein Zelt
Mit einer geheimen, verborgenen Welt.
Die kleine Behausung in luftigen Höhen,

Mit bunten und schillernden Stoffen versehen,
Gab frei eine Hand. Und im faltigen Ritz –
Ein Augenpaar, neugierig, schnell wie der Blitz.

Und Reiter begleiten den langsamen Tross,
Es fliegen die Pfeile, es tänzelt das Ross.
Die bunte Gesellschaft, Kamele und Reiter
Bewegten sich lärmend und sorglos und heiter.

Die Palmen begrüßten die Reisenden stolz
Mit rauschenden Blättern, mit bebendem Holz.

Dann kamen sie näher und stoppten den Lauf
Und schlugen im Schatten ihr Zeltlager auf.
Sie tranken ausgiebig vom Wasser der Quelle
Und schöpften und tränkten auch Ross und Kamele.
Sie lärmten und ruhten und aßen sodann,
Bis Unheil verheißend der Abend begann.

Denn kaum hat die Nacht ihre Schatten gelegt,
Da wurden die Palmen gefällt und zersägt.
Die Riesen zu Kleinholz zerhackt und zerschissen,
Ihr Laub wurde ihnen vom Leibe gerissen.
Sie wurden dann langsam im Feuer verbrannt.
Und niemand hat ihre Geschichte gekannt.

Der Morgen begann, und der lärmende Tross
Brach auf in die Ferne mit Reiter und Ross.
Zurück blieb nur Abfall, erkaltete Asche.
Man hörte den Wind mit den Sandkörnern rascheln.
Die Sonne bewegte sich langsam gen West,
Versengte, zerstreute den kläglichen Rest.

Jetzt ist es hier öde, kein Baum und kein Laub.
Der Bach liegt bedeckt unter Asche und Staub
Und bittet umsonst den Propheten um Schatten,
Er kann in der Wüste kein Wunder erwarten.
Nur manchmal ein Geier, der fliegt übers Land
Und reißt seine Beute im glühenden Sand.

Михаил Бутов

Мы публикуем несколько рассказов известного московского прозаика из его новой книги малой прозы.

АСТРОНОМИЯ НАСЕКОМЫХ

...место закрытое... оно лежит внизу невидимое, его вес неизмерим... и когда они были в недоумении от вопроса... на своем пути подошел к берегу реки, протянул свою правую руку и наполнил ее... и бросил... на... и тогда... вода... перед их глазами... принеся плоды... много...

Папирус Еджертона

Мы залезли на крышу, чтобы сниматься. А не для того – уж во всяком случае, не для того только, – чтобы битый час промерзать на таком ветру, холодном, хотя и август. И виновата во всем, естественно, Элка. Незачем ей было приглашать накануне своего молодого поклонника. То есть в гостях-то мы сидели у нее, и тут, ясное дело, хозяин – барин. Но ведь и компания у нас тесная, годами проверенная, никто из нас потребности в новых людях вроде бы давным-давно уже не испытывает. К тому же оказался ухажер не просто так – с подковыркой. Мы с Макаровым тихо обсуждали книгу Шкловского «Звезды» – забавлялись, в сущности, поскольку ни я, ни он в звездах ровным счетом ничего не смыслим, – так, заглянули интереса ради в ученый фолиант. А поклонник неожиданно возбудился. «Это же, – говорит, – просто космогонический диалог, настоящая платоновская традиция. Готовая передача – бери и снимай!» Так и выяснилось, что он не то репортером, не то журналистом на телевидении.

- А чего снимать-то? – спросил Макаров.
- Разговоры ваши снимать! – догадалась Элка. – Фиксировать для истории.
- Про звезды?!
- Да про что угодно, – размахивал руками репортер. – Не хотите о космосе – давайте о литературе. Можете?
- Эти все могут, – сказал Терентьев.
- Ради бога, хоть о музыке! Музыку любите? Только в таком же духе. Суть-то не в предмете, не в предмете... Для программы «Авторское телевидение». Согласны?

– Еще бы не согласны! – Элка уже на месте подпрыгивала. – Мне реклама знаете как нужна! Позарез!

– Не понимаю, – сказал Терентьев, – чем мы вам можем быть интересны? Мы далеки от общественной жизни. Мы песен и то не поем. Ни хором, ни под гитару.

– Не понимает! – сказал репортер. – Вы что, не смотрите нашу программу?

– Да все как-то... – сказал Терентьев.

– Но телевизор вообще смотрите?

Терентьев совсем смешался.

– Это же в самом центре внимания сейчас. В противовес оголтелости политиков и бесстыжести торгашей. Простые люди, хранящие в наше безумное время внутреннее достоинство и искорку духа. Тихие подвижники. Нормальный человек в ненормальном мире.

– А, – сказал Терентьев.

– Да просто посидим поболтаем. Что-нибудь о жизни своей расскажете, о пристрастиях: эстетических там, философских... Потом я склею – пальчики оближешь!

Мы и согласились. Только вспомнили, что в Элкиной квартире (это, точнее, ее свекрови квартира) обстановочка завтра предполагается совсем неподходящая. Потому что за какой-то нуждой должны возвратиться с дачи сама свекровь и ее сын, безработный Элкин муж, спившийся на той почве, что не состоялся как некто высоколобый – не то лингвист, не то литературовед, и звереющий хотя и разнохарактерно, но в одинаковой степени и когда выпьет, и когда почему-либо воздержится, так что мамаша от греха подальше удаляется с ним в деревню с апреля по ноябрь.

Но Элка тут же придумала выход:

– А мы на крышу, на крышу! Лестница на чердак как раз в нашем подъезде. Там замок есть, но это только для виду. Очень, кстати, модно сейчас, если интеллигенция в телевизоре проповедует с крыши!

Я думал было возразить, что себя-то к интеллигентам не причисляю: мне, например, даже воровать доводилось, – так что предпочел бы скверик какой-нибудь, с фонтаном или на худой конец с клумбой. Но остальным вроде понравилось, и я не стал вступать, поскольку остался бы все равно в меньшинстве.

И что теперь? Уже и в уши надуло так, что до ночи будешь обеспечен головной болью. И даже лавочки тут нет, чтобы можно было прижаться друг к другу, обменяться животным теплом. А единственное, чего, судя по всему, мы еще можем дожидаться, – дождя. Когда он начнется, отсюда мы, конечно, слезем. Но и это только с одной стороны победа. С другой же – каждый избрал какой-нибудь серьезный предлог, когда уходил из дома, и

теперь придется убивать время, потому что, если вернешься раньше срока, достоверность легенды окажется под сомнением и в следующий раз, чего доброго, тебя уже отслеживать начнут.

Элка здесь, оказывается, не впервые. У нее тут даже что-то вроде садика. Ящики фанерные – наверное, из магазина внизу, – а в них задыхается в каменной земле несвежая трава, кое-где уже совсем пожухлая. Нет ни цветов, ни растений, какие при благоприятных условиях могли бы ими стать. Элка утверждает, что в Европе у всех так. Мне почему-то кажется, что не совсем так, но неохота ее огорчать, поэтому в обсуждение этого вопроса мы не вступаем. Элка сидит и смотрит на свой газон. Сидит она на дощечке, а дощечка положена прямо на гудрон, которым крыша залита. Колени подтянула к подбородку. Терентьев чуть в стороне стоит и глядит вниз – все еще высматривает репортера. Вчера мы все ему объяснили и показали – он не мог заблудиться. Значит, попросту не поехал. Трепло. А говорил, что только за камерой забежит в обед на студию – и прямо сюда. Макаров сидит возле Элки на высоком, в треть человеческого роста, и довольно широко бетонном парапете, идущем по краю крыши, и тоже иногда вниз посматривает, при этом опасно перегибаясь, зависая над пропастью всей верхней половиной тела.

– Ты перестань сейчас же! – в который раз уже визжит Элка. – У меня мурашки по коже, когда ты так вывешиваешься!

Макаров поднимает вверх ноги и балансирует совсем уже на одной точке – правда, руки держит наготове, чтобы в случае чего за край удержаться. Тогда Элка валится набок, обхватывает его лодыжки и тянет обратно.

– Не смотри, – говорит Макаров.

– Все, прекрати. Стой нормально.

– Нормально – это как, по-твоему?

– А то тебе не ясно! Опершись жопой о гранит. А лучше вообще – сядь!

Макаров действительно сел, сильно подвинув Элку с дощечки на гудрон.

– У меня был приятель, – сказал он. – Упал однажды с пятого этажа. Пьяный был совершенно, не помнит, как падал. Причем не на кусты упал, даже не на травку – прямо на асфальт. И хоть бы что. Ну, синяков пара – ни сотрясений, ни переломов. Я так думаю, дело в том, что он легкий: худой, маленького роста. Когда летел, то за балконы, наверное, цеплялся, за подоконники – погасил скорость. Потому что легкий. Вот Терентьев бы, скажем, как бы ни хватался – было бы без толку.

– Это точно, – сказал Терентьев.

– А он, значит, ничего не помнит. Пьяный. Все думали, он умер или без сознания, а он, оказывается, как упал, так и заснул. А когда его в Склифосовского уже привезли, очухался, ничего не понял и решил, что

родственники наконец-то сдали его в дурдом. Вскочил с каталки и дал деру – как был, в одних носках. Домой возвращаться не стал, попил где-то еще дня три, а потом знакомого встретил. У того аж челюсть отвисла: ты же, говорит, из окна выпал, убится насмерть! Только тогда и узнал все про себя. И сам уже испугался, пошел в больницу. Врачи его посмотрели, конечно, пощупали, но особенного никакого интереса не проявили. Он возмущается: как же так, я же уникальный, наверное, случай?! А ему: да что ты, батенька! Смертный, мол, предел – это седьмой этаж. Вот если б ты с седьмого – тогда другое дело. А так – детский, мол, лепет.

– Здесь четырнадцатый, – говорит Терентьев.

Я уже приготовился порассуждать на этот счет. Но Элка вдруг сообщила:

– А у меня брата посадили. Двоюродного. Позавчера суд был. За убийство, между прочим.

– Пугаешь? – сказал Макаров.

– Бандит? – спросил Терентьев.

– Не-а. Просто от него жена ушла, и он потом долго жил совсем один. Рехнулся, наверное, от одиночества. С кем-то поругался на работе, взял нож и зарезал. У всех на глазах – прям по Камю. А мы с ним в детстве в солдатиков вместе играли. На даче...

– Доиграете, – сказал Терентьев. – Лет через пятнадцать. А с ума от одиночества никто не сходит. Одинокая жизнь ведет к самоуглублению и вплотную приближает к истине. Как отец троих детей могу это утверждать со всей ответственностью.

– А теперь родственники того, зарезанного, – говорит Элка, – требуют пересмотра дела. И суд, кажется, пошел им навстречу. Так что его, наверное, все-таки расстреляют.

И мы погружаемся в приличное случаю молчание.

С Элкиной крыши только и видно что другие такие же. Целый микрорайон. Еще всякие провода. И только далеко, в нескольких километрах, новый жилой комплекс: высокие белые дома с большими окнами – в таких, наверное, даже зимой не приходится днем зажигать свет. Сейчас пасмурно, и они видятся такими же грязными, как и все остальное. Но в хороший день, вечером, под низким солнцем, их стены кажутся нежно-розовыми – будто бы сам камень светится изнутри, как редкостный мрамор. Иногда я нарочно подгадываю час и забегая к Элке, чтобы полюбоваться этим из окна у нее на кухне.

Зато с другой стороны дома – так близко, что различаешь фактуру поверхности, – высится здоровенная труба, раскрашенная белым и красным. То есть белым она не крашена – за белое собственный цвет бетона, а вот

по нему наведены через равные промежутки широкие бордовые кольца. Еще в детстве я вычитал в журнале «Наука и жизнь», что означает подобная разметка: никакого особенного дерьма, значит, эта труба в воздух не выбрасывает, а только горячий водяной пар. Вот если бы была она, скажем, желтая с синим – тогда да, тогда близко лучше не подходи. Хотя пар, по-моему, тоже гадость порядочная. Было время, я жил на окраине, а работал неподалеку от Киевского вокзала, на другой стороне реки, так что каждое утро шагал пешком через тот мост, где на обелисках фамилии героев восьмьсот двенадцатого года. Это особенно зимой было заметно. Утром выходишь из дома: морозец, небо синее, снег сверкает! А доберешься до моста, посмотришь с него – и трубы кругом, и все, что из них валит, прямо на глазах сливается в сплошную хмурь, так что нет уже и помина о дне чудесном, а только серость обыкновенная и сажа.

Но все равно: я люблю трубы. Наверное, я только две вещи по-настоящему и люблю – трубы и железные дороги. Дороги-то еще в детстве меня заморозили, всем своим адовым красно-черным (успел, застал закат паровозной эры!) клублением дымов, разноцветными огнями на ночных станциях, бесконечным перетеканием линий друг в друга на больших узлах – на зависть Визарелли. Для меня и до сих пор нет большего наслаждения, чем простоять вечер и ночь в самом последнем тамбуре поезда, смотреть назад, где все это вьется, перемигивается, сплетается и расплетается, исчезает и возникает опять. Но главное – запах! Причем даже не тот, густой, что поднимается от шпал в знойный день, когда солнце плавит в них смолу, но ровный, вечерний, каким все пропитано вокруг любого пути – даже одинокого, заросшего, заброшенного где-нибудь в поле или в карьере.

А вот трубы – сам не знаю за что. Есть в них какая-то тайна. Например, мне никогда не удавалось подсмотреть, как их строят. Ведь не представишь себе подъемный кран такой высоты. И если предположить, что составляются они из больших бетонных колец, то понадобился бы по меньшей мере вертолет, чтобы поднимать такие кольца наверх и ставить их друг на друга. Но кто видел когда-нибудь грузовые вертолеты над Москвой? Другое дело, если их складывают из обычного кирпича, а потом штукатурят поверх. Тогда, по мере того как труба растет вверх, можно было бы устраивать специальные подъемники для материала. Но это на много недель работа. Я же ни разу в жизни не встречал недостроенной трубы. И вполне готов поверить поэтому, что их попросту привозят под покровом ночи уже готовыми на каких-то грандиозных машинах, а потом не менее грандиозными домкратами устанавливают за пару часов в нужном месте.

– Слушай, – спрашиваю я у Макарова, – это правда, что из глубокой шахты можно днем увидеть звезды?

– Само собой, – говорит Макаров.

– Почему – само собой? Это, по-моему, вовсе не само собой, а достаточно как раз удивительно.

– Удивительного тут ни на грош, – заявляет Макаров, а я в очередной раз крещу его мысленно позитивистом. – Если ты смотришь на небо с открытого места, то в глаза тебе светит весь купол целиком, да еще солнце, прямые лучи, – и все это блеск звезд, соответственно, застит. А в шахту свет попадает только от маленького участка неба, который над ней. И солнца нет. Вот и получается. Понял, Фофанов?

Моя фамилия не Фофанов, но это одна из макаровских поговорок.

– А из трубы? – спрашиваю я. – Вот из этой, скажем, трубы – тоже будет видно?

– Естественно. Какая разница?

– Ничего себе – какая разница! – смеется Элка. – Труба и шахта! Это, извините, вещи прямо противоположные. Просто как мальчик и девочка.

– Да ну тебя, – говорит Макаров, – я ему серьезно объясняю...

– Едет! – сказал Терентьев.

Мы бросаемся к парапету. Но Элка говорит: не он. Фары не те.

– Как это?

– Тут квадратные. А у него круглые и по две...

У Элкиного репортера голубые «жигули». На них он катает Элку по Москве и за город. И при случае, конечно, откидывает назад сиденья. Репортеру года, наверное, двадцать четыре. А Элке тридцать. А мне, например, тридцать два – но это тут ни при чем. Но сохранилась Элка отлично. У нее, между прочим, совершенной формы грудь. К тому же и жизнь ее научила кое-чему. Так что юноша нисколько не прогадал, выбирая.

– Ну я ему покажу, – говорит Элка.

– Скорее наоборот, – говорит Терентьев.

– Что – наоборот?

– Не покажешь.

– Может, обойдемся без хамства?

– А на кой хрен ты нам все это устроила? – спросил Терентьев.

– Ну, я же не знала... А потом, вы спокойно могли отказаться.

– Вообще-то я и сам об этом много думал, – сказал Макаров. – У меня даже проект имеется – для ООН или ЮНЕСКО. Рано или поздно шахтное расположение стратегических ракет все равно морально устареет. Тогда в эти шахты можно установить зеркала для телескопов. Получится всемирная наблюдательная система. Многоэлементная и с большим разрешением.

Я поинтересовался, как он собирается направлять такой телескоп в нужную точку.

– А где она, нужная точка? – сказал Макаров. – Будут сканировать небо – земля-то вертится. Пускай вселенная поделится кое-какими из своих тайн. Терентьич, у тебя телескоп когда-нибудь был?

Терентьев ответил взглядом – совершенно затравленным.

– Вот и у меня не было. А ведь хотел купить пару лет назад. Школьный, но приличный. Рефлектор. Так денег пожалел. Чурка!

Как-то мне все это странно. Я знаю, что единственная книга, какую Макаров прочел по астрономическим делам, – все те же «Звезды», с которых все и начиналось вчера. И даже вторую, которую я дал ему уже давно – «Вселенная, жизнь, разум», – не открывал пока. И вряд ли откроет.

– Надоело, – сказала Элка. – Преклонение перед абстрактной бесконечностью, околдованность астрономическими масштабами и любовь к мертвой природе отдают, знаете ли, дешевым пижонством. Человек мыслящий вглядывается в малое и ищет неизреченное рядом. Над тайной жизни в первую очередь задумывается, над ее вездесущностью, постоянством, воспроизводством. Вы бы лучше в обыкновенном зачатии попробовали что-нибудь понять! Да-да, в зачатии – и нечего лыбиться! Что это, как это? Да ты на траве когда-нибудь лежал, человек асфальта?! А там, между прочим, в почве, любая крупинка вся кишит прямо: жучки, червячки, букашки, какая-то мелочь, вообще уже не различимая... Вот они, масштабы, вот тебе галактики, вот любые созвездия... Но им мало, видите ли! Им мертвый огонь подавай, да еще далекий настолько, что недостижим в принципе! Тем более, если не ошибаюсь, он и горел-то сотни миллионов лет назад, а теперь, может, и вовсе не существует. Пустое место!

– Кстати, – сказал Макаров, – микроскоп я тоже не купил. Сам не понимаю почему. Сказать смешно, какие он копейки стоил.

– Во-первых, – внес трезвую ноту Терентьев, – ничего этого в микроскоп не видно. Видны в него в лучшем случае амебы, клетки и срезы волос. Во-вторых, насчет того, что и когда светило, – это самый сложный философский вопрос, связанный с никем еще толком не осмысленными категориями пространства и времени. А потом, какое тебе, поэту, дело до букашек, которые где-то там кишат? Ты зреть обязана в суть человеческую!

– Дурак! – говорит Элка. – А в кого, по-твоему, мы все превратимся? Сперва – в землю. Потом – в них как раз, которые из земли происходят.

Терентьев задумался, отразил очками трубу. Потом кивнул головой:

– А что... Я, пожалуй, согласен. В жука. Пожарника. Или нет – в майского.

– В шмеля, – сказал я.

– Ну а я, наверное, – сказала Элка, – в муху. Дрозофилу. Идет?

– А почему не в бабочку? – спросил Терентьев.

– Действительно, – сказала Элка, – почему не в бабочку?

– У вас, ребята, – засмеялся Макаров, – нелады с семантикой. Жуки, между прочим, тоже бывают полу мужского и женского. И мухи.

– Дудки, – говорит Элка, – они все гермафродиты.

На крыше соседнего дома двое мужиков в тусклой одежде вязали веревку к основанию телеантенны. Другой конец веревки сполз с крыши и свисал на чей-то балкон. Потом один достал неразличимый отсюда, но, видимо, режущий инструмент, попробовал его на жестяном колпаке над вентиляционным выходом, и до нас долетел душераздирающий скрежет.

– Бр-р, – поежился Макаров, – прямо мороз по спине.

– Домушники, – констатировал Терентьев тоном человека, выстрадавшего запанибратство со всеми вещами мира.

– Если они нас увидят, – сказала Элка, – они могут в нас выстрелить. Потому что мы для них представляем опасность. Как интересно! Я, наверное, впервые в жизни представляю для кого-то опасность.

– Ну да! – усомнился Терентьев. – А для многочисленных жен?

– Это не считается.

Но я к Элкиным словам все-таки прислушался и настоял на том, чтобы спрятаться за чердачную будочку. Тут мы и уселись, плечом к плечу, все четверо. Теплее не стало. Прямо перед нами оказалось теперь вытяжное отверстие, из которого устойчиво пахло позавчерашним супом.

– А вот с моим братом, – сказал Терентьев, – с родным братом, случилась такая история. Род его занятий состоял в том, чтобы обследовать только что выселенные дома и собирать там всякие интересные вещи, оставленные жильцами. Попадалась антикварная мебель, картины – у нас, например, дома до сих пор подлинный Верещагин висит, – книги, даже медали и деньги старинные. Работал брат с приятелем, который был шофером на автобазе, так что удавалось использовать служебный грузовичок. Все у них было отлично налажено; брат даже роман крутил с дамочкой из Моссовета, секретаршей в том именно отделе, где отвечали за выселение, ремонт или снос старых домов в центре. Так что сроки и адреса им становились известны заранее. Основной же задачей было опередить дворника. Естественно, опередить его совсем – невозможно. Но дворник чаще всего в этих делах не специалист и по первому разу забирает только то, что самому приглянулось: пустые бутылки, пепельницу, может, какую, если найдет, мебель, которая поцелее. Но зато, если позволить ему прийти во второй раз и в третий, тогда он либо сам вынесет все без остатка на предмет хоть по дешевке – да продать, либо отыщет такую же, как у брата, конкурирующую частную фирму. Так что попасть в дом необходимо было точно между первой и второй дворницкими инспекциями. И вот однажды брат обнаружил в одном таком доме замечательный ампирный буфет. Эдакого

мастодонта – больше двух метров высотой. В новой квартире, куда переехали хозяева, он, по-видимому, просто не мог бы уместиться. Буфет требовал некоторой реставрации, но даже в таком виде был шанс прилично на нем заработать. Брат прикинул и решил, что вдвоем, пожалуй, если поднатужиться, вытащить они его оттуда сумеют, тем более что парадная лестница по ширине была прямо-таки дворцовой. Сбегал в телефонную будку, вызвал поделщика с машиной – тот ставил ее не в гараже, а возле дома, так что и по ночам она оставалась в их распоряжении, – потом вернулся назад. И тут видит, как из дверей возникает дворник, а с ним интеллигентного вида мужик. Они стоят, о чем-то договариваются и наконец бьют по рукам. Дворник достает здоровенный замок и вешает его на дверь подъезда. Брат понимает, что дворник на этот раз попался не промах и успел уже буфет запродать; мужик же, надо думать, отправился за подмогой и скоро придет забирать. Следовательно, требовалось спешить. Подъезжает напарник, и они вместе бросаются искать черный ход. Этого конкуренты действительно не предусмотрели – там только на щеколду было закрыто. Не буду описывать, с какими страшными трудностями спускают они негабаритный совершенно буфет по узенькой черной лестнице. А внизу выясняется, что дворник уже исправил ошибку: щеколда снова задвинута с той стороны. То ли не знал, что они внутри, то ли решил один с двоими не связываться, а предпочел дожидаться, пока явится с грузчиками покупатель. Что делать? Только дверь ломать. Они ведь набор инструментов брали с собой, и в нем был маленький топорик. А дверь массивная, старая – из дуба, наверное, сделана. Крушить ее – дело долгое и шумное. Поскольку происходит все, как я уже говорил, поздним вечером, соседи напротив вызывают на этот шум милицию. Но именно в это время и именно в доме напротив воры грабят квартиру на первом этаже. Дальше все происходит в таком порядке: брат наконец-то пробивает в двери дыру и отодвигает щеколду. В это же время ничего не подозревающие воры начинают вылезать из окна. А в следующую секунду во двор влетает милицейская машина, и довольные милиционеры, забыв, естественно, о причине вызова, вяжут растерявшихся жуликов и ведут в воронку. Брат с приятелем подхватывают свой буфет и со всех ног – за угол, к машине. Все. Конец истории.

– Это ты все сочинил, – говорит Макаров после паузы.

– Почему – сочинил?

– Потому что ты не можешь знать в этой ситуации, кто, когда и зачем вызвал милицию. И потом, по ночам квартиры никто не грабит – это только внимание к себе привлекать.

– Да? – Терентьев почесал в затылке. – Ну да. Верно. Только сочинил не я. Так рассказали.

– Еще хуже, – сказал Макаров.

Элке мы опять надоели.

– Господи, – сказала она, – как же холодно все-таки! Я бы прямо шубу сейчас напялила.

Макаров сразу насторожился и буркнул:

– Натуральную?

– А то!

– Ну, раз «а то!» – значит, с бабочкой ничего не получится.

– С чем не получится?

– Даже с мухой не получится.

– А... Не вижу связи.

– И зря. Скажи, вот самый дешевый мех – какой?

– Кошкодавленный, – сказала Элка.

– Ну, это ладно – не в счет. И кролик не в счет. Кроме.

– Еще белка.

– Белка подходит. Но у нее хотя бы хвост длинный. А вот помнишь, раньше был еще один – шиншилловый?

– Помню, помню, – вздохнула Элка. – Я только не понимаю...

– Я тоже не понимал, – вздохнул Макаров, – пока однажды своими глазами эту самую шиншиллу не увидел. Она – во размером, с кулак. И на полупердик, который едва прикроет тебе задницу, таких зверушек нужно не меньше, наверное, полусотни. Не кажется тебе безнравственным такое соотношение?

Элка наконец взвыла:

– Ску-у-учно ка-а-ак! И обыкновенно. Скоро вообще никого не останется, одни моралисты. Ты лучше подумай, почему все эти благородные веяния происходят, как правило, из тех мест, где в декабре вовсю распускаются цветочки. Просто оттуда кажется, что прохаживаться зимой в маечке – это изысканное удовольствие.

– От холода, между прочим, искусственный мех спасает ничуть не хуже.

– А производство синтетики, – говорит Элка, – отравляет, между прочим, атмосферу. И океаны. Затрудняет произрастание леса. И почему это, кстати, кошек – можно, а крыс каких-то – нет. Кошки чем хуже?

– Любое производство отравляет атмосферу, – сказал Макаров. – Человечишко мерзопакостный вообще все отравляет, за что бы ни взялся и на что бы ни положил глаз. И я не говорил, что кошки – хуже... То есть я не говорил, что кошек – можно: все свидетели. Я только приводил более наглядный пример. А тебе, с твоими взглядами!.. Элементарная справедливость требует, чтобы оказалась ты в шкуре какой-нибудь выдры. А еще точнее – без шкуры. Вообще, на что ты надеешься?!

– Не знаю, – сказала Элка, – наверное, он уже не придет.

– На что вообще может надеяться человечество, – закричал Макаров, – когда оно по уши в крови и в дерьме?!!

– Да брось ты, – отмахнулась Элка. – Мы что – тоже?

Я посмотрел за угол. Люди на соседней крыше колдовали над поваленной антенной, орудуя карикатурно большим гаечным ключом, – ремонтировали.

– Гляньте, – сказал я.

Все по очереди поглядели.

– О-ох, пустота бытия, – сказал Терентьев.

И мы опять долго молчали. Пока Элка не попыталась сделать шаг к примирению.

– Ну ладно, ребята, – сказала она, – вы на меня не обижайтесь. Я все поняла: шубы от вас не дождешься. Время сколько?

– А сколько ты хочешь? – спросил Терентьев.

Но было ясно уже, что время – уходить.

– А чего мы, собственно, ждем? – спросил Макаров.

– Девяти часов, – говорит Элка. – Я сказала, что записалась на бухгалтерские курсы. И что занятия до полдевятого.

– Ты что, смеешься?! – сказал Терентьев. – Еще шести нет!

Элка покачала головой, горестно:

– Нету!

– Так, может, все-таки спустимся? По-моему, пора уже того – по ликерчику.

– Что выпивка на холоде согревает, – сказал Макаров, – чистойшей воды миф. Другое дело, если выпить в тепле, а потом выйти на мороз – тогда действительно. Или наоборот: сначала ходить по морозу, а потом выпить в тепле.

Я опять посмотрел за угол. Антенна стояла уже вертикально, мужики поднимали с надсадом и навешивали на ее станину чугунные блины – для устойчивости.

– Не могу, – говорит Элка. – Вы же не знаете эту старую каргу! Она спит и видит, как бы освободить от меня своего сыночка, а заодно и жилплощадь. Часами у окна караулит, мечтает на чем-нибудь меня подловить. А тут – нате! Сразу с тремя. Подарок. Так что вы идите, пожалуй. А я еще посижу.

– По одному ведь можно, – предложил Терентьев.

– Все равно. Как ей объяснишь потом, что я здесь делала?

– И никакого выхода?

Тогда мы дружно повернули головы в сторону пожарной лестницы.

Дом у Элки какой-то странный: лестница спускается по глухой торце-

вой стене. Интересно, кому предлагается ею воспользоваться, если действительно загорится, – котам?

– Ну и вперед, – говорит Терентьев. – Мы тебя внизу подождем.

– Да вы что? – испугалась Элка. – Я боюсь... Ну, одна – боюсь.

Терентьев распустил изувёрскую улыбку.

– Ладно, шутка. Никто тебя одну и не заставляет.

И когда он первым направился туда, где полотно лестницы подымалось на полметра над крышей, изящной дугой заворачиваясь на конце, когда и Макаров потянулся уже за ним, я слишком отчетливо почувствовал, что здесь что-то не так, что-то не сходится. Я сказал:

– Пстой, Элка, погоди! У тебя ведь окна на другую сторону смотрят! Никто бы не заметил, как мы из подъезда выходим!

Но она только расхохоталась в ответ, она так увлечена была своими какими-то соображениями, что промахнулась сперва мимо ступеньки и поставила туфлю на темя не успевшему спуститься далеко Макарову. Какой тут выбор – я лезу следом. Вроде бы и раньше меня ничего не защищало – но тут ветер с особенной яростью набрасывается, бьет в лицо, не позволяет смотреть. Первую минуту я спускаюсь совсем вслепую. А когда наконец открываю глаза – вижу, что порядком уже от Элки отстал, вижу еще фигуры внизу: несколько человек уже выстроились на тротуаре, задрали головы, наблюдают. Мне понятен их интерес: ветер щедро, широко раздувает Элкину юбку. Потом глаз отмечает быстрый отблеск в окне напротив – там еще один, высунувшись из-за занавески, наводит на резкость монокуляр. А лестница раскачивается под нашим весом, и крючья ее подозрительно свободно ходят туда-сюда в панели, угрожая скорым отрывом – сверху вниз, как в американских кинокомедиях. Я спрашиваю себя, на что надеюсь больше: что это прямо сейчас и произойдет или что и на этот раз ничего не случится. Делается весело от таких мыслей. А в памяти всплывает неизвестно откуда: «О, ленивый Варламе, готовься к ранам, близ есть конец!» «Варламе! – кричу я, – эй, Элка, почему Варламе?!» Вряд ли она может различить слова. Она просто задирает голову на мой голос, находит меня глазами и хохочет еще заливистее. И тогда я вижу всех нас как бы в объективе того маньяка за занавеской. И понимаю, что Элка добилась, чего хотела: сделала нас на несколько минут именно теми, кем до поры нам и предстоит быть. Просто четыре человека на фоне стены. Я машу Элке рукой и чувствую, как просыпается во мне Голос. Вообще-то это приятное ощущение, но жаль, что я знаю наперед все, о чем он способен сказать: «А что то царствие небесное? Что то второе пришествие? А что то воскресение мертвым? Ничего того несть! Умерл кто, ин то умер, по та места и был!» Уже очень давно я сочинил ему ответ. И столько потом му-

солил эту фразу, так оттачивал ее, что превратил в настоящее заклинание. Вроде бы только и дел теперь, что произнести с нужной уверенностью: мол, если, оглядывая небо над собой, обнаружишь его пусто, подумай, не призван ли ныне твой ангел в небесное воинство. Но я пытаюсь – в тысячный, наверное, раз – и опять не могу. И опять остается только твердить себе, что говорить о том – пулно. Что в день века познано будет всеми.

Потерпим до тех мест.

ЧИНЫ СОВЕРШАЕМЫЕ

Днем Бекетов вымыл повсюду полы и отдраил с порошком ванну и раковины. Потом, собираясь, имел случай удивиться, как незаметно, непостижимо быстро способен обрастать вещами. Меньше месяца он здесь прожил – а столько всего должен был увозить теперь, что уже не хватало двух сумок, с которыми, полупустыми, он пришел сюда. Книги топорщились углами из ячеек хозяйственной авоськи, напоминая гигантский многопорядковый ставролит. Бекетов стягивал ручки авоськи веревкой, когда зазвонил телефон. Сквозь трески и шумы такие, будто пытались выйти на связь не из подмосковной Малеевки, а по меньшей мере с Луны, хозяева квартиры сообщили ему, что останутся в доме творчества еще на неделю.

Потом он пребывал в том особом возвышенном состоянии, что возникает, когда неожиданно отменяются не одно или два намеченных накануне дела, но целая цепь заранее рассчитанных событий, которым предстояло быть связанными друг с другом и заполнять время. Осев на кровати среди рассыпающихся сумок, Бекетов ощущал себя в провале бытия и не находил ни вещи, ни действия значимых настолько, чтобы предпочесть их другим и именно с них запускать жизнь вновь.

Но сладостным было само сознание вновь обретаемой прочности положения. Бекетов приближался к столу с робостью изгнанника, возвращающегося к родному порогу. Потертые ручки кресла, где сквозь дырявую материю проглядывал железный скелет, безымянные фотографии на стене, царапины на полировке, складывающиеся в пентакль, – он боялся верить, что все это опять принадлежит ему. Удостовераясь, провел по столешнице рукой, касаясь едва, как касался бы травы. И подумал: вот сейчас и позвонит Лиза.

Она никогда не верила, что такое возможно, но за эти годы он действительно научился предугадывать с точностью до минут ее появления и звонки.

Лиза, Лиза! Вечная невеста. Неужели ты до сих пор не понимаешь, что

мне известно все о твоих обманах, о том, куда и на что толкает тебя твое обостренное до сумасшествия осязание скользкой между пальцами жизни, что так простодушно (слово, может, и неуместное, но до смешного точно отмечающее суть) и так нелепо ты тщишься от меня скрывать. А я уже забыл, как давно впервые догадался, что, сидя со мной рядом среди все тех же, тысячи раз повторенных людей, часто представляющихся мне всего лишь воплотившимися страницами одной-единственной телефонной книжки, ты вспоминаешь другие лица и другие тела – когда-то мне было больно воображать, как ты обнимаешь их, а теперь – скучно. Как и задаваться вопросом, отчего я никак не соберусь развязаться с тобой.

– Ага, это ты, – сказала Лиза. – Я думала, ты уже уехал...

– Тогда зачем звонишь?

– Ну, так... проверить.

– Они решили остаться.

– Очень хорошо. Надолго?

– Может, недели на полторы.

– Значит, сегодня мы можем туда вернуться?

– Откуда вернуться? – спросил Бекетов.

– Ты не собираешься на службу?

– А ты собиралась? Куда?

Знакомые ферматки в словах – своеобразное ее кокетство.

– Ну, хочешь – туда, на Пресню? Или в Обыденскую... Вообще-то лучше в Обыденскую. Как раз и прогуляемся обратно. Постоим часиков до двух... – И протянула особенно: – Пост, между прочим, кончается. А то вдруг ты забыл.

Бекетов представил себе веселый и властный взмах головы, с каким она могла бы сказать это прежде. И подумал, как многое в ее манере держать себя, когда-то обезоружившей его своей натуральностью, стало теперь всего лишь намертво заученными приемами, тяжеловесными и наигранными. Жаль. Наверное, это закономерности в старении: когда начинаешь задумываться о сроках, потребность в любви делается потребностью того же рода, что сон или еда. Но как-то все не по силам отказаться от тех арабесок, что должны обозначать особое ее положение. Хочется верить, что они способны магическим путем возвращать молодость. Год от года нужно все больше вранья, чтобы поддерживать в себе надежду на чудо.

– Я не хочу идти. В центре давка, в церквях – я задыхаюсь. А с окраины не доберешься назад.

– Ну хорошо – тогда давай я сразу к тебе. Я привезу что-нибудь...

– Нет, – сказал Бекетов.

Она помолчала.

- Я не понимаю. Что-нибудь случилось?
- Бекетов не ответил. Действительно не знал – что.
- Ты предлагаешь мне свободу на эти дни?

А были ли вообще, подумал Бекетов, дни, когда ты не считала себя свободной?

Только почему тогда, зачем ты сама цепляешься за меня так отчаянно? Или знаешь все-таки, чувствуешь, чувствовала всегда в глубине души, что, пытаясь заставить время обгонять тебя, ты лишь дробила его: в пыль, в атомы, в ничто – ведь похоть не имеет продолженности; что в конце концов я останусь единственным, что еще будет стоять между тобой и тем, от чего ты так бежишь? Ты ошиблась, Лиза. Не в первый раз. Но я уже ничего не могу для тебя сделать.

Каждую нужную ему вещь, даже мелочи, он переносил на стол отдельно. Ему нравилось следить, как, подобно железным опилкам, распределяющимся на листе, накрывшем магнит, на столе постепенно, в порядке, обусловленном существующим между ними напряжением, для него ощутимым и понятным, располагаются словари, готовые листы рукописи, ручка, спички и пепельница... Бекетов дополнил незаконченную страницу давно сложившейся в уме фразой: «Ничто из того, что понято верно, нас не лишит благоуханья цветов».

Потом набрал номер матери.

- Я не приеду.
- Отчего, Коля? У нас кулич...
- Мне нужно заниматься.
- Ты ведь изголодался, наверное, там.
- Да я постился только Страстную. Всего неделя!
- Все равно. Сходи хоть сегодня купи себе что-нибудь.
- Не знаю. Суббота, вечер – тут поблизости ничего уже не найдешь.
- Тогда приезжай! Не валяй дурака!
- Да нет, мама, – сказал Бекетов. – Мне хорошо.

Но о еде все-таки следовало позаботиться. Проинспектировав на кухне шкафы, Бекетов обнаружил в запасе только полкило риса. И тогда все же прикинул: может, действительно – в гости? В хороший дом, тароватую семью, где сладко чавкает дверца холодильника, где блюд на столе по числу постных дней – сорок восемь, а за столом приятные люди обсуждают интересные и легкие вещи? К кому бы? Но нынешнее одиночество, в которое некому ворваться против его воли, обещавшее спокойную работу, тихий разговор с собой, а после полуночи – приятную борьбу со сном над каким-нибудь романом из библиотеки хозяев, вдруг показалось таким желанным, что Бекетов некоторое время возбужденно шагал по комнате,

снова и снова дотрагиваясь внутренним касанием до неожиданного своего счастья, как до зарубцевавшейся раны, прикосновение к которой приятно именно вследствие памяти о минувшей боли.

Еще вчера он бродил по городу в одном пиджаке, а тут пришлось снова натягивать шапку: ветер носил мокрый снег, лупивший в лицо и набивавшийся за воротник. Прячась за стеклянной стеной троллейбусной остановки, Бекетов размышлял о том, почему из двух праздников, связанных с самыми значимыми (если какая-то градация вообще здесь возможна) и уж наверняка самыми чудесными событиями священной истории, для него всегда была более сокровенной таинственностью Рождества. Как будто затушеванной казалась ему глубина тайны Пасхальной – ликованием, вздохом облегчения, испускаемым после семи недель замирания и скорби. Но ведь постятся и под Рождество, и так же ликующи рождественские песнопения. А настоящая причина, наверно, всего лишь в том, что на Пасху он всегда оставался в Москве, всегда с головой в тех опостылевших житейских попечениях, которые и требуется отложить – да кто сумеет сейчас. Рождество же случалось праздновать в маленьких дальних городках, стоять службы в полузанесенных снегом деревенских храмах. Да и в Москве в рождественские дни все совсем по-другому. Сколько он помнил, никогда не бывало в эту ночь ветра. А главное – особое чувство снега: тихо падающего, лежащего ласково, укрывающего...

Вопреки обыкновению на вокзале почти не оказалось торговцев. Но Бекетов остался доволен, купив банку голландских сосисок, которые ценил за содержащийся в них соус. Денег хватило еще на пакет с овсяным печеньем, и он уже направлялся прочь, когда под рукой образовалась старушка при муфте и в шляпке.

– Молодой человек! – она с веселой требовательностью подергала его за куртку. – Будьте добры – на хлебушек! Ради праздника.

Чуть заметный прононс наводил на мысли о дамском пансионе.

Бекетов удивился: казалось бы, попрошайничество должно развивать интуицию. Неужели она не чувствует, что с него не возьмешь многого?

Но печенье пришлось отдать.

А однажды, когда, почти еще не знакомый с Диной, Бекетов был неожиданно приглашен в Рождество к ней, блуждая вечером в поисках нужной улицы по окраинному району, он очутился возле какого-то строения без окон, откуда светил вниз и чуть вбок мощный желтый прожектор. Тогда, глядя на отчетливую, напоминающую в резком боковом свете миниатюрный горный ландшафт, фактуру утоптанного снега, проявлявшего словно бы и необычную свою, аморфную, изменчивую природу, и истинную неподвижную сущность, Бекетов совершенно отчетливо почувствовал, что

сейчас это действительно может произойти. Что пастухи, волхвы, вол с осликом, сами ясли и вертеп уже выступили из-за завесы, скрывавшей их на протяжении то ли долгой цепи реинкарнаций, то ли некоего отстраненного тайного пребывания; уже соединились где-то и снова ждут, исполнившись надежды. И после все пытался представить себе, как, не ведая чисел и сроков, сходятся они так раз, быть может, в триста, быть может, в тысячу или пятьсот лет, как проводят в молчании ночь и потом снова отступают в неизвестность, чтобы возвращаться опять и опять. Но знают, что упование их не ложно, и сколько ждать – не имеет значения.

Вот, вот тело, – писал Бекетов, –
Выкрикивает свои порядки,
Учит само себя.

Отрываясь, подолгу курил у окна, вглядываясь в мокрый асфальт перед домом, в мокрую кошку под козырьком подъезда, в движение красных огней, отмечающее эволюции пытавшегося припарковаться в узкую щель между другими автомобилями, – и переживал, оставаясь всецело в пространстве слов и просодии, разрыв с существенностью.

Так совпало, но, едва вселившись сюда, он тут же и вычитал в письмах Пушкина, что именно на углу Тишинского и Малых Грузин жил и сходил с ума Батюшков. И порой вполне готов был поверить, что тень безумного поэта покровительствует его труду. Строки перевода ложились здесь на бумагу так легко, будто он всего лишь следовал чужому внятному голосу.

Отныне спокоен,
Отныне я жду откровенья.
Дорога ли, утро однажды.
Станут мне знаком?

Было почти одиннадцать, когда телефон ожил снова.

- Ты поселился там навсегда? – спросила Дина.
- Нет, – сказал Бекетов. – Но хотел бы.
- Останешься дома?
- Дома. Ты тоже?
- Конечно. Здесь ведь ребенок.
- А что твой муж?
- Объелся груш, – сказала Дина. – Зачем ты... – Потом добавила: – Ветер стих.
- Любишь его?
- Кого, ветер? Тебя люблю.

- Тогда позвони еще. Ночью.
- Зачем это?
- Ну как зачем? Я скажу тебе, что Христос воскрес.
- Нет уж, – засмеялась она. – Это я скажу: воскрес.

А тебе отвечать: воистину! А его уже увлекла идея, что чередой церковных праздников, даты которых он тут же и взялся выписывать из десятилетней давности календаря, найденного на полках, должна воспроизводить евангельские события не просто сами по себе, но непременно, пусть в некотором условном времени, и их последовательность. И тогда получалось, что нынешняя Пасха связана не с этого года Рождеством, но как раз с тем, позапрошлогодним, с которого и началось их с Диной сближение.

Рис Бекетов поставил вариться заранее, чтобы поужинать сразу после двенадцати. За пять минут до полуночи прочел про себя короткое правило и включил разбитый приемник, батарейка к которому была прикручена клейкой бумагой. В доступном ему диапазоне духовную музыку передавала почему-то только станция, обычно специализирующаяся на рок-н-ролле. В полночь они закончили: прошли позывные и наступила тишина.

Бекетов открыл форточку. Слово гадающая в полнолуние девушка, он вдруг уверил себя, что первый звук, дошедший сейчас извне, непременно должен что-то сказать ему о том, чего он ждал и на что надеялся всем своим существом: о перемене участи, какой бы она ни была. Но долго, несколько полных минут, тишина оставалась абсолютной: он не слышал ни речи, ни машин, ни звука шагов. И тогда Бекетов понял, что на самом деле готов уже, давным-давно готов смириться с тем, что вот так и будет, с каждым годом молчание все глубже, а приступы тоски все глуше и безысходнее. Может, это и есть тот главный приговор, который каждый рано или поздно оказывается вынужден произнести самому себе? Но пока что – пока что, оглядываясь назад, хотя бы несколько разрозненных дней мог он еще различить отчетливо. Прожитые иногда с Диной, чаще в одиночестве, всегда внешне пустые, но отмеченные, подобно сегодняшнему, какой-то особой ясностью и чистотой, только они и составили в эти два года подвесной мостик для его души. И помнить о них – даже если когда-нибудь все еще станет иначе, даже если смятение и хаос все-таки отступят, дав ему воздух, необходимый, чтобы осуществить себя, – он всегда будет с гордостью и благодарностью.

А потом, как песня из рока Мюнхгаузена, что-то наконец оттаяло в воздухе. Но не определить было ни природы этого звука, непредставимой в городе, ни сути искомого в нем обещания. Далеко, за домами, что-то заухало, тяжело, торжественно и протяжно. Слово большая птица, подумал Бекетов.

И повторил вслух:

- Слово большая болотная птица.

ЦЕНА

В субботу Оборин взял своих – и поехали на день рождения к приятелю. Приятель был из тех редких, что заводятся в зрелом возрасте, но уже давний, теперь и жены их дружили, и дети. Занимался он продюсированием в области авторской песни, и гости были большей частью из этого круга.

В гостях Оборин много и с удовольствием ел, но выпил только стакан красного вина, поскольку был за рулем и возвращаться домой требовалось рано. Его беспокоила машина, хрумпал шарнир в передней подвеске, завтра он надеялся прямо с утра съездить в ближайшие гаражи и застать там местных умельцев, пока они еще не очень наклюкались.

Перед самым отъездом, когда его сын с детьми хозяина перебирал диски компьютерных игр, он вышел на лестницу покурить и оказался в обществе барда, известного в том числе своей неоткрытостью, своим колким отношением к людям. Бард был настоящей знаменитостью – по крайней мере для той публики, которая любит и знает авторскую песню.

Знакомство, пускай и шапочное, со знаменитым бардом, Оборину льстило. Хотя сегодня он поймал себя на мысли, что лет двадцать тому назад скорее барду было бы лестно выпивать в одной компании с физиком, доктором наук и профессором.

Они встречались не впервые, но всегда здесь, в этом доме, и, помимо таких встреч раз в году на дне рождения общего друга, связь не поддерживали. За столом сегодня беседовали как добрые знакомые, но все на обычные никчемные темы: о ценах на бензин, надвигающейся зиме, о какой-то истории с полуфабрикатом из курицы, чуть ли не о футболе.

Дом стоял на границе московского пригорода. Окно лестничной площадки выходило на песчаный карьер. Разработки в карьере давно не велись, он был затоплен водой и успел превратиться в место купания и рыбной ловли по мелочи для здешних жителей. Оборин пару раз гулял там с ребенком. К высоким откосам, откуда выступали, подобно древним костям, корни сосен, тропинка вела через заглаженное ветром, будто глазурированное, поле мелкого кварцевого песка, совершенно белого. До заката было не больше получаса. Даже в лучах низкого оранжевого солнца белый песок выглядел, как снег.

– Ну вот, – сказал Оборин, повернувшись к окну, – до настоящего, ненастоящего снега уже считанные недели. А в мае всегда кажется – так далеко...

Ответа не предполагалось. Курить вдвоем на лестнице можно и молча, неловкости не испытываешь. Оборин даже вздрогнул, когда бард отозвался с какой-то мучительной, загнутой на конце вверх интонацией:

– А у вас-то что думают? Кто-нибудь хотя бы знает, что теперь с этим делать?

– С чем? – удивился Оборин. – С зимой?

– С войной, с Чечней, взрывами, заложниками? Вы, технократы, имеете свое мнение на этот счет? Кто-нибудь вообще думает об этом в стране, кто-нибудь ищет решение?

Оборин растерялся. Он уже мыслями был дома, прикидывал, что еще надо сделать сегодня: рыб покормить в аквариуме...

– Какой же я технократ? – Еще оставался шанс свести разговор на нет или хоть повернуть. – Я пытаюсь заниматься фундаментальной наукой.

– Но все-таки не гуманитарий, не политик, не публицист. – Голос у барда был сейчас надломленный, словно на перехваченном дыхании, так говорят о вещах, которые действительно не дают человеку покоя. – С этими ясно уже, одно бла-бла-бла, а то и прямо подстрекают. Кто еще не высказался? Вот, наука. Может быть, бизнес, нормальный, человеческий, не завязанный в этих делах. Вдруг вас и надо услышать? Вы рациональнее остальных, вы, должно быть, способны видеть не иллюзорные пути...

– Боюсь, – перебил Оборин, – ты переоцениваешь науку. Нынешний ученый занят какой-то своей проблемой. Хорошо, если их будет у него две или три за жизнь. А по поводу всего остального имеет такие же обывательские мнения, как и любая кухарка.

Он начинал злиться. Бард что, специально его провоцирует? Ведь понимает прекрасно, не может не понимать, что в подобном разговоре задающий вопросы как бы заранее расположился ступенькой выше, а отвечающий мало того что пойман врасплох и должен в панике собирать мысли, еще и вынужден не пойми за какую вину словно бы оправдываться. И все же Оборин безвольно, но понемногу увлекаясь, начал пересказывать казавшиеся ему более-менее разумными соображения, возникавшие раньше в беседах с другими людьми. Ну, надо уничтожить их харизматических лидеров. Пусть чеченцы, в конце концов, сами себе поставят какое-нибудь серенькое правительство. А затем методично его подкупать, чтобы, с одной стороны, они там тешили себя мыслями о своей независимости, а с другой – были уже более заинтересованы в контактах с Россией, не только в противостоянии. Соглашаться на приемлемые уступки, добиваться, чтобы пар спустили понемногу, на тормозах. Взрывы, конечно, долго еще не прекратятся, тем паче, что чеченская война ведется уже давным-давно отнюдь не только с освободительными целями. Задача – максимально развести население и боевиков, чтобы хотя бы большая часть населения не чувствовала себя солидарной с боевиками. И добиваться такого положения, чтобы наш уход отсюда не вызвал всплеска междоусобной резни и насилия – иначе опять перехлестнет к нам. А вот потом – возможно, через много лет – все-таки надо, наверное, отпустить. И когда это будет другая страна – поставить заслон,

чтобы никто уже отсюда сюда просто так не просочился воровать людей. Как с самого начала предлагал писатель Солженицын. Над Солженицыным у гуманитариев – Оборин знает – принято чуть ли не посмеиваться. А на поверку Солженицын в своих прогнозах чаще всего выходит прав...

Он не успевал фразу закончить – а в голове у него были уже готовы пять возражений. Оборину стало стыдно. Вот, мелет языком, как горлопан в споре: мысли не выношенные, не выбранные из многих опровергающих друг друга, а, казалось бы, одинаково верных.

Бард в сердцах махнул рукой.

– Ну чем мы теперь будем их покупать, привлекать, приманивать? Деньги им сподручнее получать с другой стороны. То, что я слышал... – наши там такого натворили. От своих же, заметь, и слышал: журналисты, военные – сами и рассказывают. Шепотом. Они теперь лет сто будут мстить. А наши все больше звереть. Они мстят, мы звереем, они мстят еще жестче. Тупик. Странно еще, что мечь у них пока такая допотопная. В большом городе запросто можно устроить настоящий конец света...

Тут на площадку вышел ребенок с развязанным шнурком на ботинке и полным пакетом компакт-дисков.

– Вчера ехал от родителей, из Серпухова, – сказал бард. – Сажусь в электричку и понимаю, что место уже выбираю с оглядкой. То есть сперва вагон выбираю – последний, кто будет взрывать последний вагон? А лавка – первая, лицом ко входу. Чтобы ударило в спину, если взрыв в центре вагона, и лавка защитила. Почти автоматически выбираю. Во что мы все превращаемся?

– Ну что ты, – сказала Оборину жена, появившаяся на площадке вместе с хозяевами, – не можешь ребенка пнуть, чтобы завязал ботинок?

Бард наспех и без особого тепла сунул Оборину руку и скрылся за металлической дверью.

Этот непонятно за что и почему навязанный ему неприятный и даже унижительный разговор Оборин постарался забыть – и забыл. Он сегодня получал какое-то особенно острое удовольствие оттого, что пока еще тепло, и листья почти все на месте, и не нужно еще счищать снег с машины, отдраивать скребком замерзшие окна и зеркала, рулить наобум, потому что встречные фары расплываются на неоттаявшем стекле в сплошные поля света. В одиночку он не очень-то любил ездить по Москве, но те же самые маршруты, и раздражающе частые остановки на светофорах, и даже пробки становились ему в радость, если в машине с ним был ребенок. Это единственное время, когда можно спокойно поболтать о том, что сына интересует, не отвлекаясь на собственные проблемы, поотвечать на его вопросы, что-то ему рассказать.

Дома он выпил чашку чая, понажимал кнопки на пульте телевизора: пусто и глупо по всем каналам, как всегда вечером в выходные. Посмотришь десять минут и начинаешь понимать исламского террориста, мечтающего взорвать этот полый мир во славу Аллаха. В будни еще удастся иногда найти какую-нибудь познавательную программу или документальный фильм.

Ребенок отказывался идти спать, убеждал мать, что еще совсем рано и он имеет право, – и выторговал все-таки еще сорок минут. Поставили, под присмотром Оборина, одну из привезенных игр, но договорились, что разбираться с нею сын будет завтра. А пока Оборин сам сел за компьютер и, пройдя наконец-то под увлеченные комментарии ребенка самую гадкую трассу по песку среди скал, выиграл кубок второго дивизиона в гонках на внедорожниках. Сын хлопал в ладоши.

Нет, в общем-то он, конечно, понимал барда. То, что происходит, волнует каждого, но для творческого человека это, должно быть, особенно мучительно, ибо нещадно вспарывает оболочку самодостаточности, в которой творцу следует пребывать, чтобы тайна могла твориться у него внутри. Да в такой атмосфере просто невозможно сосредоточиться! Сам он уже слишком давно в науке, чтобы еще приравнивать ее к творчеству, но ведь и ему с каждым днем все труднее сконцентрироваться на мыслях о своем предмете.

Когда сына удалось все-таки заманить в кровать, Оборин вышел в Интернет. Он хотел найти ссылки на труды новосибирского коллеги – о его работах Оборину предстояло писать отзыв в журнал. В строке новостей «Яндекса» он прочитал, что двум подозреваемым по делу о взрыве самолетов предъявлены обвинения. Кликнул и просмотрел сообщения целиком. Это были не террористы, и даже не их пособники, а милиционер, задержавший, но тут же и отпустивший шахидок в аэропорту, аэропортовский барыга, продавший им билеты с рук, и чиновник авиакомпании, работавший с барыгой на пару. Милиционер, по мнению других милиционеров, виноват не был, поскольку все делал по инструкции: документы у кавказских женщин были в порядке, на вопросы они отвечали логично, а обыскивать их закон не велит.

И вдруг в нем пошло разворачиваться, словно бы Оборин припомнил перед выступлением основательно подготовленный и выверенный доклад, все, что необходимо было высказать в давешнем разговоре. Забыв отсоединиться от телефонной линии, он запустил Word и, уже раздраженный веселой перебранкой жены и сына перед сном, которую обычно любил подслушивать через закрытую дверь, затарахтел по клавишам. Теперь суждения были четкие, представлялись единственно возможными, фразы цеплялись, тянули за собой одна другую.

Он должен был сказать, что подходить к войне с понятиями мирного времени – лицемерие. Война не примет ничьих законов, зато кому хочешь навяжет свои. Такое же лицемерие – выискивать на войне военные преступления. Она вся преступление, место смерти и насилия. Государства сегодня, начиная войны, самонадеянно утверждают, будто способны удерживать насилие в определенных формах и границах, но это никогда и никому не удавалось. Человек на войне, вне зависимости от своих культурных корней и личного взгляда на вещи, для того, чтобы чинить жестокость и убивать. Если не по желанию, то в силу обстоятельств. Если даже чудом сумеет увильнуть – не сможет удержать других.

Конечно, государство обязано делать вид, что как-то эту жестокость контролирует. Поэтому периодически кого-то вылавливают, обвиняют в пытках и в убийстве мирного населения, передают суду. Это спектакль. В общий круговорот насилия затянуты все воюющие.

Более-менее благородно война может выглядеть только в одном случае: если побеждающая сторона преклоняется перед культурой побежденной. Так русские били Наполеона – с уважением. Но лишь там, где действиями командовало офицерство. Едва в дело вступали партизаны – сразу началась другая игра. И очень скоро переставали разбираться даже, где свои, а где чужие. Топору все сгодятся.

Вообще-то у Оборина была идея позвонить приятелю-имениннику, спросить адрес и свои соображения отослать по электронной почте барду. Может быть, завяжется переписка. Ведь об этом ему и самому постоянно хотелось с кем-нибудь поговорить. Но когда он пытался, наталкивался на странную вещь: его интеллигентные собеседники как будто больше всего боялись показать, что им может быть что-то неясно в происходящем, вызывает сомнения, что суждений по данному поводу у него просто нет – не вызрели, еще не выработаны. Почти у всех готовые непробиваемые позиции – словно они родились с ними. И набор заученных фактов пополняется свежей информацией, выбранной так, чтобы хорошо ложились в заданную схему; и закидывали они собеседника этими фактами, словно гранатами из-за бруствера: не приближайся, не трогай мою оборону. В девяносто пятом все очень сочувствовали свободолюбивым чеченцам, а он пытался объяснять, что войну на самом деле начали они, когда повсюду в Чечне убивали русских – за квартиры, за деньги, просто так. Теперь, когда он говорит, что после стольких лет взаимного уничтожения способен понять чеченца-мстителя и по-человечески не испытывает к нему ненависти (если, конечно, речь действительно о мстителе, а не об арабском госте, исламском фанатике или бизнесмене от войны), на него порой смотрят как на предателя интересов родины.

Думал уже сходить в другую комнату за телефонной трубкой, заметил теперь, что все еще висит на телефонном канале и деньги за Интернет каплют в никуда, чертыхнулся и вспомнил: бард хвастался сегодня за столом, что не имеет с компьютерами никаких контактов – не понимает их, не любит, не пользуется. Ладно. У него в записной книжке найдутся телефоны журналистов, пишущих в лучшие аналитические издания. Некоторых он знает с детства. Они помогут куда-нибудь пристроить его заметку, может быть, даже статью – в качестве частного мнения. Вон, знакомый профессор-антрополог где только не печатает свои материалы обо всем на свете: от дамских журналов до экономических еженедельников. Даром что преклонных годов.

Оборин писал: нельзя начинать войну. Виноват в войне всегда тот, кто стал убивать первым. Но если война уже идет – ее необходимо быстро выигрывать, пускай самыми жестокими средствами. Количество жертв и мера страдания все равно окажутся меньше, чем в войне, сколько-нибудь затянувшейся. Политики, заигрывающие здесь с фальшивым гуманизмом, несут куда большее зло, чем самые прямолинейные вояки-генералы.

Конфуций говорил что-то в таком духе: сражения выигрываются в храмах. И задолго до того, как войска вышли на поле битвы. А мы даже не знаем: воюем мы все-таки или не воюем, а так, гоняем хорошо организованных хулиганов. После бесланских событий вроде бы признали: да, война. Но тогда почему у нас вызывают такое как бы недоумение взрывы, захваты заложников? Чем они так уж отличаются от совсем еще недавно вполне легитимных бомбардировок городов, ударов возмездия? Тем, что направлены против мирного населения? А когда это было в последний раз, чтобы армия сражалась с армией? Если сильные страны хвастаются своим «сверхточным» оружием, способным якобы поражать исключительно военные цели, – это только подчеркивает, что в целом войны ведутся именно против народов. И погибло от «сверхточного» оружия за время последних конфликтов куда больше мирных людей, чем в террористических актах.

Признав войну, мы хотя бы обеспечиваем себе право на адекватный ответ. Вернее, могли бы обеспечить. Но мы все никак не определимся – с кем именно мы воюем. С Чечней? Со всем исламским миром? С международным терроризмом, насаждающим новый мировой порядок? Как будто боимся назвать. Потому что, как только произнесем это вслух, придется принимать меры в отношении врага, и не только тех, кто держит в руках оружие, но и тех, кто может его держать. Разве можно себе представить, чтобы в 1914 году немцы занимались активной скупкой недвижимости в Петрограде и Москве? Но – мировое сообщество! Но – все священные

коровы, связанные с национальностями и вероисповеданиями! Только речь-то уже не об абстрактной справедливости и не об общих принципах – речь о нашем выживании. Вполне возможно, что чеченская война подогревается сегодня для того, чтобы новые могущественные структуры за счет России перекраивали мир в свою пользу, – и наша главная задача как можно быстрее, любой ценой из нее выйти. Но так или иначе мы не можем позволить просто убивать себя, как бараны.

Только на определенность здесь очень трудно решиться (и ему самому неприятно, его пугают собственные заключения, похожие на призывы поставить всю страну под ружье, он думает о сыне). Тогда война неминуемо станет общим делом. Но когда в стране трудно заработать на кусок хлеба и некому защитить человека от бандита, у людей пропадает государственное сознание. Они думают о себе, о своих близких, а элита – о своей драгоценной собственности. А тут от каждого так или иначе требуют какого-то решительного самоотвержения. В пользу чего? Власти, государства? Да кому они сегодня нужны, кто в них верит, кроме заказных телеобозревателей? Пока-то все удобно. То ли есть война, то ли нет ее. То ли есть противник, то ли с тенью воюем. Шанс погибнуть от бомбы шахидки куда меньше, чем шанс погибнуть в автомобильной аварии. Кто-то где-то платит своей кровью за обладателей элитного жилья и загородных особняков, за телевизионных и поп-звезд, за политиков, нефтяных магнатов и их адвокатов, за бардов, за ученых, за каждого, кто живет пока еще мирной жизнью и ужасается, сидя перед ящиком, злодействам террористов. Понемногу: пять человек, десять человек, кап-кап. Триста человек. Ну да что это для страны, привыкшей считать мертвых миллионами.

Полтора часа спустя он может прокрутить на мониторе пять написанных страниц. Он чувствует, что ему удалось: текст энергичный и содержит отпечаток его душевной боли, тревоги и страха, а стало быть – лишен назидательности и звучит весомо. Но ему не нравятся последние абзацы, их тон. Он видит, что его слишком увлекла форма, предполагающая в конце вывод, заключение, итог – но кто может подвести здесь итог? Его размышлениям следовало бы начинаться на середине фразы и так же обрываться – это было бы честнее. Да, его подвела форма, но это несложно поправить: несколько предложений по всему тексту, убрать патетику, чуть изменить конец... теперь дело идет тяжелее. Он пишет кусок, стирает, набирает снова, меняя слова или их порядок, ищет достоверную интонацию.

И в какой-то момент его пальцы ошибаются, соскальзывают с нужных клавиш, нажимая одновременно две или три в комбинации, которую он, конечно, не запомнил и не может потом воспроизвести. И вместо окна Word перед ним возникает суконная поверхность «рабочего стола».

Он-то не бард, он с компьютером вась-вась и знает, что тот ничего не делает необратимого, не спросив предварительно – а часто и дважды, – уверен ли ты. Поэтому сначала он ищет внизу значок свернутой программы. Ничего нет. Хорошо, файл должен был сохраняться автоматически каждые пять минут, и максимум, что он потеряет, – свои ковыряния в последнем абзаце. Стоп. Всего неделю назад какая-то дурацкая игра, поставленная сыном, снесла ему шрифты в офисных приложениях – пришлось переставлять систему. И, разумеется, он упустил из вида, что после перестановки автосохранение нужно настраивать заново.

Он снова включает редактор, рассчитывая, что программа сообщит ему о восстановленных файлах и поинтересуется, что с ними делать, – даже намертво зависая, компьютер обычно успевает как-то запомнить данные. На экране как ни в чем не бывало, без всяких вопросов, возникает белый лист, курсор приглашающе мигает. Он просматривает директорию самого Word, папки для временных файлов, заглядывает в корзину, всюду, куда программа могла бы что-либо сохранить. Нет ничего. На «рабочем столе» крутится вокруг своей оси анимированный ярлычок новой компьютерной игры. Он смотрит в зеленое сукно «рабочего стола» (раньше, до перестановки системы, здесь была духоподъемная фотография голубейшего неба с облаками и самолетика-биплана, выполняющего вираж), как будто уперся взглядом в какие-то последние предметы и онемел от их безнадежной простоты.

– Вот так, – говорит он. – Вот чего стоят наши важные мысли. Такая вот им цена.

Ирина Скубенко

ВИШНЕВЫЙ САД С ВИДОМ НА ФУДЗИЯМУ

Мы познакомились с Ириной Скубенко год назад в Москве, на поэтическом семинаре Игоря Волгина в Литинституте, куда она с горя прибежала «за диагнозом». Она раньше не писала стихов, но вдруг полилось потоком. Стихи придумывались, проговаривались, прошептывались, сами сбивались в какие-то бесформенные кучи. Она не знала, что с ними делают, потом догадалась записывать. Ирина девушка начитанная и понимала, что писание стихов штука небезопасная, могут «нахлынуть горлом и убить». Но ситуацию применительно к себе не рассматривала, т.к. тексты свои – стихами не считала, а поэтом стать – и в страшных снах не видывала. Дело обычное – многие в этот семинар «ложатся на обследование», а потом годами посещают «амбулаторно». Так случилось и с ней. В Ирининых стихах ось мироздания проходит через балкон ее квартиры. Она сидит там подолгу, курит, а мир вращается перед ней, как курица на вертеле. Это для нее пиршество духа – меняется освещение, времена года, цвет листьев на деревьях; то прохожие бегут под дождем, то дети играют в песочнице, то цепочка звериных следов появляется на снегу, и Ирина гадает – чьи? И еще бывает много-много неба, которое можно разглядывать часами, отдельно от всего остального, – все бесплатно, в подарок от «шеф-повара». И никакой метафизики при этом – отношения с Богом у Ирины сложились неблизкие, но вполне добрососедские. Он, судя по стихам, живет где-то в том же доме, этажом выше. Они иногда перезваниваются, но Ира никогда не звонит первой, – стесняется. Подробности – в стихах.

Созерцательный характер Ирининой поэзии отражается и в названиях стихов – стихотворений масса, но все сплошные «февраль», «июли», «дожди» и «рассветы». Однако, ничего общего с дворовой лирикой под гитару эти стихи не имеют. Взгляд с балкона не кажется ни узким, ни локальным. Пристальное разглядывание окружающего, любование «миром, отраженным в капле воды», не очень характерно для русской поэтической традиции. Но мы знаем одно неплохое место, где есть гора со снежной верши-

ной, красиво цветущие вишневые деревья и камыши с большим количеством бабочек. Тамошние люди тысячами описывают эти нехитрые радости жизни и умудряются изложить свои впечатления в трех строчках. И ничего – всем нравится. Такая самоуглубленность и самодостаточность вполне органичны для Ирины Скубенко. Мы еще удивимся, каких стихов она нам насочиняет – вот только посадит под балконом вишневое деревце, прищурится на соседнюю многоэтажку с неубранным снегом на крыше да нарежет камышей на ближайшем болоте. А бабочки к ней сами прилетают, есть уже стих про капустницу. Ира зря не напишет.

Марина Науйоокс

ХАРИТОНЬЕВСКИЙ

На Чистопрудном часто вспоминаю,
как славно было здесь – назад лишь полсудьбы.
Как весело звенели здесь трамваи,
билеты в «Современник» без толпы

фарцовщиков. Там хиппи «Джалтаранга»,
галдя, гнездились – барабаны, смех,
поддатый капитан второго ранга
тряс кошельком, купив еды на всех...

Здесь я впервые в доме побывала,
что вскоре стал любимым и моим.
Там рокером в окне полуподвала
парил с трубою белый серафим.

Здесь на такси всегда трояк давали,
сюда приехал Лариных возок.
Ты в комнату с лепниной, точно в зале,
меня – казалось, навсегда – увлек.

Где ты теперь? Квартиру расселили,
наяды с потолка простыл уж след.
А нимфы фавна, наконец, простили?
Неважно, их давно на стенах нет.

Вот странный звук, хоть пусто и безлюдно –
непотопляем и неопалим,
вознесся над бульваром Чистопрудным
знакомый белокрылый серафим.

СЕРЕДИНА МАРТА

Два ветра над землей воюют:
один приносит стужу злую
и превращает слякоть в лед,

другой несет весны дыханье,
ждет, что раскиснув от рыданья,
сосулька с крыши упадет.

Гиперборей стужа злится,
казалось бы, пора смириться
с тем, что ее прогонят прочь.

Но ведь упорная какая,
то замерзая, то оттая,
природа сокращает ночь.

И соглашаясь с ней сквозь зубы,
мы в нафталин пакуем шубы, –
долой весь зимний реквизит!

Дыханье стран Гиперборей
над комнатой моею реет,
аж занавеска парусит!

ОДИНОЧЕСТВО

Пролетел сутулый черный грач.
Дети во дворе играют в мяч.
В небесах стрижей полным-полно.
Ароматом старого кино

день наполнен. Мыслей простота.
А с небес, как с чистого листа,
смотрит жизнь твоя. Тебя в ней нет,
только встреч с другими легкий след.

Где ты, жизнь? Есть только синь небес,
час прошел – и в прошлом он исчез.
Долга нет, заботы тоже нет,
отстирал их акварельный свет.

А придет из той же сини смерть –
ничего не нужно будет сметь.
Жизнь и так течет отдельно от тебя
и в глазах отчаянно рябя.

В этой жизни нужно просто быть,
жизнь по капле медленно цедить,
созревать на солнце, словно плод,
жизни завершив круговорот.

ВО СНЕ

Нежнее, чем дымка ночных облаков,
над миром колышется облако снов.
Вот кто-то во сне полетел в небеса –
наверное, бабочка или оса.

Охотник во сне загоняет лису,
пес ловко во сне утащил колбасу,
котятка во сне видят нежную мать
и снов молоко продолжают сосать.

А дочка моя в полусне услышала
из трубки мобильного звука хорала.

Взглянула она – от кого же звонок?
А там, в телефоне, написано: Бог.

СОСЕДКА

Темные растрепанные косы,
долгий взгляд припухших желтых глаз,
родинка большая возле носа,
на халате въевшаяся грязь.

По-французски бабушке шептала,
что не поверяла дневникам –
дочка боевого генерала,
сданного полком большевикам.

Сын соседки, из тюрьмы вернувшись,
на весь двор, бывало, чуть проснувшись,
из окна «Джамайку» запускал.
И с улыбкой мягкой слушал это
с тусклого последнего портрета
молодой красивый генерал.

ПРЕДЧУВСТВИЕ

Весь мир уже укрылся длинной тенью
тихонько голубь взворковал во сне,
наверное, хотел сказать: «Привет!» жене,
их целая семья живет под нашей сенью.
Весь мир уже укрылся длинной тенью.

Как голенасты ночью фонари!
Их свет на стенах множится. бликует,
а голубь наш голубку поцелует,
и будут спать безгрешно до зари.
Как голенасты ночью фонари!

Как веер, свет немногих фонарей
раскинет крылья на стене балконной.
Кошачий силуэт – таинственный, бессонный, –
размножит на стене балконной близ дверей,
как веер, – свет немногих фонарей.

В моем раю все будет точно так:
ночные звуки, тени, силуэты,
что могут означать и то, и это,
фонарный свет, лиловый полумрак...
В моем раю все будет точно так.

Наталья Резник

ПОРТРЕТЫ

Нам дали по портрету. Таня сразу спросила:

– Куда их сдавать?

– Да как с Дворцовой выйдете, там будут собирать.

Мы взяли по портрету и пошли. Мы их несли сначала лицами вниз – так было удобнее. Лица цеплялись друг за друга и за наши ноги.

– Да, – сказала Таня, – вот рожи! Мешают идти.

Портреты дали не всем. Многие шли с пустыми руками или небольшими флажками и радовались жизни.

Мы подняли рожи вверх и немножко ими пофехтовали, чтобы развлечься. Но тут нас одернули: мол, все-таки школьное имущество.

– Члены политбюро чтоб были на палках, – сказала завуч. – Если отвалятся, кто их будет назад подвешивать?

Пока колонна двигалась вперед, Таня не переставала ругаться и говорить, что вообще непонятно, зачем портретов больше одного, если они все равно одинаковые, как из инкубатора.

– Ты своего члена хоть знаешь? – говорила Таня. – Вот именно: в политбюро все члены на одно лицо.

Потом мы наконец вышли с Дворцовой, нас понесла толпа, и к тому времени, как мы оказались на Невском, портретов уже не собирали. Мы пошли с портретами по Невскому. На нас оглядывались.

– Все, – сказала Таня, – я своего дальше не понесу. Меня с ним домой не пустят.

Она прислонила портрет в подземном переходе лицом к стене.

Я никак портрет оставить не могла, потому что он был не мой и его следовало вернуть в школу.

– Дура ты, – сказала Таня. – Как ты его утром в школу потащишь? Тебя же в психушку заберут.

Мне было очень страшно думать о том, что придется идти утром по улице с портретом, я всегда боялась выделяться, я даже боялась приходиться

в белом переднике, если не была уверена, что остальные не перепутают.

Но все неожиданно кончилось хорошо. Я поставила портрет в коридоре около тумбочки с обувью. Наша соседка по коммунальной квартире, выйдя вечером из комнаты, налетела на портрет и с криком «грабители!» упала вместе с портретом на тумбочку, сломав и то и другое.

Потом она вызвала участкового, обвинив нашу семью в провокации. Но это уже совсем другая история.

«КОММУНИСТЫ, ВПЕРЕД!»

Сначала Ленка упала в обморок. Вместе со знаменем. Они менялись в своей знаменной группе каждые пятнадцать минут. Очередные пятнадцать минут Ленка не выдержала. Торжественное собрание продолжалось уже полтора часа. Дышать в спортзале было нечем. Дедушка-орденоносец произносил речь. У него, наверно, была тяжелая жизнь, и он привык обходиться без кислорода. Завуч сделала страшные глаза и прошипела: «Знамя! Пионерское знамя не должно лежать на полу!» Знаменосец покрепче Ленки подхватил знамя, а мы начали вытаскивать Ленку из зала за спиной дедушки. На выходе мы стукнули ее головой о косяк двери, и завуч опять заволновалась. Но дедушка ничего не заметил и продолжал говорить, что вся надежда на нас, молодое поколение, и мы должны нести и крепить и защищать Родину, как Александр Матросов. Мы вынесли Ленку из зала и посадили ее на пол. Следом за нами выбежала наша Татьяна Николаевна. От удара о косяк Ленка пришла в себя, открыла глаза и сказала:

– Можно я пойду домой?

– Домой ей надо! – сказала Татьяна Николаевна. – Домой! А как раньше пионеры? Вот Валя Котик бы держался до конца!

– Я тоже держалась до конца, – сказала Ленка.

Я спросила:

– Может, я Лену домой отведу?

– Ты что, Полякова, с ума сошла! – сказала Татьяна Николаевна. – Ты же ведущая. А кто у нас будет читать «Коммунисты, вперед!» со сломанным микрофоном?

Ленка ушла. Я уже собиралась вернуться в зал, когда оттуда выскочила девочка в белом переднике и сообщила:

– Татьяна Николаевна, у новенькой припадок.

– Какой припадок?

– Пелилептический. То есть этот – лепилептический.

Мы вбежали внутрь. В третьем ряду зияло пустое пространство, дети жались друг к другу, а на двух упавших стульях корчилась в судорогах пионерка класса из четвертого. Она была гораздо легче Ленки, мы ее быстро унесли в учительскую, пока дедушка ветеран говорил:

– Государство дает вам все: бесплатное образование, бесплатную медицину, бесплатный труд...

В учительской Татьяна Николаевна кричала в трубку: «Школа!... Ребенок!.. День Победы!.. Приступ! Приступ у ребенка!...»

– А ты назад иди! – заорала она на меня. – «Коммунисты вперед!»

Я успела вернуться, вручить дедушке причитавшиеся ему по сценарию цветы и прочитав «Коммунисты, вперед!»

Когда собрание закончилось, большой девочки в учительской уже не оказалось. Ее увезла «скорая». Татьяна Николаевна сидела одна, записывала что-то в блокнот и бормотала:

– Моду они взяли в обмороки падать! На следующий год никаких больных! А ты, Полякова, вот что, найди-ка какое-нибудь другое стихотворение про коммунистов к следующему году. Это уже слушать невозможно.

Через год мы вступили в комсомол. Ленка больше не носила пионерское знамя, и больную девочку перевели в другую школу. А мне пионервожатая подобрала новое стихотворение:

*Идти в шеренге наступающей,
Как ни был бы огонь неистов.
Таков он был и есть, товарищи,
Моральный кодекс коммуниста.*

Хорошие стихи. Главное – короткие.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ РУССКОГО ЯЗЫКА

За те уже почти четырнадцать лет, что я живу в Америке, мои дети побывали на уроках не меньше десятка русских учителей. Когда моей дочери было лет восемь, одна учительница даже приехала к нам домой. Однажды после урока она мне сказала:

– Мне надо с вами поговорить. Ваш ребенок меня поправляет. Учителя поправлять нельзя.

Я спросила:

– А в чем она вас поправляет?

– Сегодня я ей говорю: «Ты меня поняла?» А она: «Надо говорить «поняла». Что это за безобразие?

– Но ведь и в самом деле надо говорить «поняла».

– Вы знаете, я двадцать лет преподавала русский язык в Одессе и всегда говорила так, как говорю, и никто меня не поправлял.

– Но правильно-то «поняла».

– Что значит – правильно? Может быть, можно и так и так.

– Нет, только «поняла».

– То есть вы что, хотите сказать, что я, немолодой человек, опытный учитель, неправа, а ваш ребенок прав?

– В общем, да.

– И что же мне теперь делать?

– Не знаю... Может быть, ничего?

– Нет, я спрашиваю, что мне теперь, может, весь русский язык заново выучить?

– Ну, весь не надо. А это ударение можно и выучить.

– Ах, вот как! Ну, я вас поняла! Они меня будут учить по-русски говорить! До свидания!

И она ушла, бормоча:

– Двадцать лет в школе! Двадцать лет русского языка! Ударения у них, видите ли, не такие, как у всех.

И больше она к нам не приходила.

Алексей Борычев

ЯНВАРСКОЕ

В январской тлеющей золе
Иду по снежным дням устало
И вижу я в закатной мгле
Всех тех, кого давно не стало.

Сгорает памяти свеча,
Пред ней - они ещё живые.
И всё стоят, и всё молчат,
Времён былых сторожевые.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЕСТЬ...

В каждой игрушке больше, чем есть!.. В каждой игрушке...
Грань бытия. Слёзы и плач. Порох и пушки...

В каждой слезе плавится лёд смелой улыбки.
В белую ткань прожитых дней вшиты ошибки.

Сколько осталось? Сколько сбылось? Важно ли это,
Если всю жизнь смотрит в тебя ствол пистолета?..

Знаю, что есть больше, чем смерть: нечто такое –
Что веселей праздного дня, тише покоя.

Но бытие слепо, как ночь в пене заката,
И расщеплён в наших сердцах времени атом.

И потому скрыто от нас некое нечто,
Что – вне пространств, что – вне времён, что – бесконечно!

В каждом, кто есть – больше, чем есть; больше, чем было.
Чувство и мысль, память и страсть – наши могилы!

ПЬЯНАЯ ЗИМА

За белой скатёркой пирует зима.
Мадеру закатную хлещет.
И голосом вьюжным и сильным весьма
Кричит несурзные вещи

На маленьких мальчиков первых снегов,
Смеющихся розовым светом,
На лица хмельные густых облаков,
Опившихся браги рассветов...

Пугливо звенит колокольчиком день,
Ведь сам он – лиловый бубенчик,
И – пьяный – такую несёт дребедень,
Что мир, хоть жесток и изменчив, –

Становится мягче, добрее, милей
И яства событий подносит,
А тёмные горести - беды людей
Настаивает на морозе.
И льётся печали лучистой вино
В сердца опустевшие кубки,
И светлое чувство влетает в окно
Подобием снежной голубки.

НИКТО НИКОГДА НИЧЕГО

Никто никогда не поймёт ничего.
Никто ничего никогда.
Сгорают надежды моей вещество.
Тоскливо гудят провода.

Колеблются шторы полдневных высот
На окнах осеннего дня.

И пробует кто-то безумия сок,
Любви колокольцем звеня.

И спит пустота, и безвыходна высь,
И даль безысходно чиста.
По кругу блуждает бессонная мысль,
Глупа, одинока, пуста.

Никто ничего никогда не поймёт.
Но в этом ведь счастье! Оно
Стекает на душу, как солнечный мёд –
С утра заполняет окно.
Пульсирует вечность на правом виске
Моей постаревшей тоски,
Но стоит ли думать нам всем о тоске,
Когда серебрятся виски!..

Я ВИЖУ, КАК ВРЕМЯ ГУЛЯЕТ ПО НЕБУ...

Я вижу, как время гуляет по небу,
Легко поднимаясь по звёздным ступеням
Туда, где живёт одинокая небыль...
Где брошен в галактики вечности невод -
Ловить золотых пескарей вдохновенья.

В тех омутах звёздных так много земного,
Так много там плещется юного счастья,
Так много знакомого, сердцу родного,
Что кажется быть и не может иного,
Чем то, что встречаем привычно и часто.

Но тени событий там столь многоцветны!
Там всякая радость смеётся лучами
Добра, и всё жуткое кажется бледным.
Взрастает бессмертье квазаром несметным
Из той пустоты, где живучи печали.

А мы, согревая у печки покоя
Промокшие ливнями горестей души,

Небрежно к щеке прикоснёмся щекою,
В окно поглядев, скажем: небо какое!..
Как тихо! – шепну я. – Ты только послушай.

НИ СУДЬБЫ, НИ СТРАНЫ...

Холода обжигают лицо.
Блики солнца упали на снег.
Закатилось судьбы колесо!
Воет ветер, а слышится - смех!

И берёзы, осины, дубы
Тщетно тянутся ветками вверх.
Ни зимы, ни страны, ни судьбы,
И прозрение разум отверг.

Холода обжигают лицо.
В синеве утопая, бреду.
Замыкается снова кольцо.
Снова мир в одноцветном бреду.

Открывается медленно глаз
Равнодушной к земному луны...
Ни покоя, ни жестов, ни фраз...
Ни любви, ни судьбы, ни страны.

Артём Татаринов

КОГДА ИДЕТ ДОЖДЬ

Каждая пара влюбленных – автономное государство. У них своя политика, экономика, праздники, ветви власти, и даже захватнические и освободительные войны. И еще они всегда создают свою мифологию. Начиная с самых первых свиданий, когда их общая история еще так мала, и не хватает даже просто знаний друг о друге, каждый начинает цепляться за то небольшое общее, что у них уже есть, за кусочки одинаковой памяти. «А помнишь, как во вчерашнем фильме?». «Тебе понравилось в том кафе?». «Как думаешь, тот парень в автобусе и правда был шпион?». Потом у них появляется свой столик в любимом кафе, своя песня, своя скамейка в городском парке, свое тайное место на заросшем берегу реки. Там, где живут они, кузнечики своего счастья, начинает прорастать музей семейных реликвий, по которым их возможные дети будут гадать о прошлом таинственной цивилизации, породившей их. Возможно, это будет полоска фотографий из кинотеатра, подарки на четырнадцатое февраля, привезенные из дальних стран сувениры. Появятся и легенды: Великое Затопление Соседей 2009, Общая Простуда Под Новый Год, Первый Совместный Поход В Горы и так далее. Все это будет любовно собрано и упорядочено прозрачными пальцами памяти.

Но любое государство иногда балансирует на грани распада, революции, гражданской войны. Государству влюбленных это грозит чаще всего. Например, ночью, когда уже спеты все любовные гимны, когда смятые простыни лежат картой ночной битвы, когда скомканное облако одеяла возвращается с пола на кровать...

Когда она засыпает раньше него, он приподнимается на локте и долго смотрит на ее спину, где россыпь родинок похожа на крошки шоколадного печенья. Он глядит и боится, что однажды ей все это просто надоест. Бывает же, что ракурс портит портрет на фотографии. Вот и она – бессознательно, случайно – вдруг взглянет на их жизнь отстраненно-внима-

тельным взглядом и... разочаруется. Ей может разом разонравиться все: от его перебитого носа до их собственного языка жестов. Ведь все, что они любят, что держит их вместе и что поднимает над землей – так тонко и неуловимо, так эфемерно и незащитно. Стоит задуматься, как за горло хватает страх, тот самый страх, что сбивает канатоходцев на землю. И ведь против них весь мир. Он осаждает их бытовым дискомфортом, пробками на дорогах, переполненными автобусами, всевозможными очередями. Против их жизни, тайно или явно, выступает всё вокруг: встречи выпускников, беспардонные родственники, книги «Учись быть стервой», передачи по телеку, обсуждения в Интернете. Все, все это наваливается на нее. Сможет ли она – или правильнее сказать, как долго сможет – противостоять всем этим «трехэтажный коттедж за городом», «ей даже на права не пришлось сдавать», «на майские мы летим на Мадагаскар»?.. Как можно не соблазниться, как можно не выбрать это? Ведь альтернатива – постоянное планирование и обсуждение каждой покупки, когда ради их любимых путешествий приходится жертвовать практически всем остальным. А то, чего нет у богатых, – прогулки по воображаемым мирам, их собственные игры, смешные разговоры, – настолько хрупко и неосяземо, что даже не похвастаешься на работе и не расскажешь подругам. Как она защищает его на их девичьих посиделках? От подколов, рассказов, советов и случаев из жизни, которые бьются в тонкую дверцу их пряничного домика? Нужны ли ей на самом деле все их эфемерные завоевания? Не скажет ли она однажды, отводя глаза: «Знаешь, нам надо поговорить»?

Когда он засыпает раньше, она пристально разглядывает его лопатки, тихонько поглаживая их. Она так боится, что однажды ему просто все надоест. Ведь люди же меняются, скучнеют, остывают. Она боится, что он станет смертельно-серьезным. Что из-за вечной нехватки денег будет все время пропадать на работе. Что у него исчезнут свои слова, и придут чужие. Ведь правда, сколько можно играть и заниматься ерундой? Сколько можно совсем не обращать внимание на то, чем полностью поглощены все остальные? Она боится, что он свернет с их дороги и пойдет по какой-то другой, на которой уже не будет места ей. Что ужин ему будет важнее фильма, который они только что посмотрели. Ведь некоторые из тех, кого она знала прежде, тоже сначала были яркими, интересными, а потом блекли, гасли и говорили: «Да зачем тебе все это надо?». Что это за колея, в которую неизбежно попадают люди? А еще она боится, что он уйдет к другой. Что та, другая, завлечет его копной волос, литыми ногами, кукольным лицом, лживым голосом. Сколько их ходит: красивых, гламурных, разоде-

тых... И еще страшно, что вдруг они притрутся друг к другу настолько, что отомрут все чувства и ощущения. Что каждая из их фантазий и придумок потускнеет, а новых они – ни за что, никогда! – не смогут придумать. Тогда они затеют ремонт, выровняют потолки, будут ругаться из-за не вынесенного мусора, начнут кредитными корнями вращать в этот город и он не сможет – не захочет! – ничего сделать, чтобы их спасти. Ведь ничто хорошее не может длиться вечно. Она боится, что оборвется тот волосок, на котором висит вся их волшебная жизнь...

Когда они засыпают одновременно, на улице обычно идет дождь.

Александр Костюнин

ДАГЕСТАН

(Из дневника поездки)

Болезнь под названием «Дербент»

Дагестанские учёные долго ломали голову российским учёным.

Горцы от ума

Это произошло в те стародавние времена, когда люди не знали, как спастись от двух диких тюркских племён, нашествие которых возвестит о страшном судном дне. Иудеи и христиане называли их Гоги и Магоги, жители Востока – Йаджудж и Маджудж. Доведённые до отчаянья народы Каспия обратились за помощью к царю царей Александру Македонскому, он же Искандер О Зу-л-карнайн. Восемнадцатая сура Корана на сей счёт гласит:

– О Зу-л-карнайн, ведь Йаджудж и Маджудж распространяют нечестие по земле; не установишь ли нам для тебя подать, чтобы ты устроил между нами и ними плотину?

И он объявил:

– То, в чём укрепил меня Господь, я устрою между вами и ними преграду. И была ночь.

И ночью на Каспийском море был сильный шторм.

Затем вся вода ушла, море встало дыбом до небес и захлестнуло волной Кавказские горы. Когда волна отхлынула, на берегу, в Дербентской теснине, между морем и горами грозно возвышалась цитадель. Наутро царь царей приказал подать ему куски железа, устроил великий огонь, расплавил металл и вылил его на крепость.

С тех пор слух о «дивных стенах», «великой твердыне у моря», витал по всему древнему Востоку. В самом узком месте Прикаспийской низмен-

ности, где отроги Главного Кавказского хребта ближе всего подходят к Каспийскому морю, и застыл, будто исполинский страж, – город Дербент. Мощные, изумляющие своей монументальностью, грандиозностью фортификационные сооружения Дербента во все времена вызывали восхищение. Они поражают и доныне. Слово «Дербент» состоит из сочетания двух персидских слов: «дэр» – ворота и «бэнд» – узел, связка. Закрытые ворота.

Дербентский проход стал границей между народами Албании и кочевыми племенами савир, бумар, авар и другими, живущими за «воротами».

* * *

Моим первым собеседником в Дербенте оказался Гусейнбала Гусейнов: – Когда начинаю говорить о Дербенте, теряю самоконтроль. Меня хоть стреляй!

Я считаю: к тем тридцати шести национальностям, которые есть в Дагестане, нужно, по справедливости, прибавить ещё одну – дербентцы. При встрече, за пределами родного края, интересуемся у кунака: «Ты когда приехал из города? Скоро обратно в город?» Москва для нас – столица. Город – исключительно Дербент. Наша крепость Нарын-Кала в семь раз больше пирамиды Хеопса – одного из семи чудес света. Это одно из трёх крупнейших фортификационных сооружений ми-и-ра! Таких, как Великая Китайская стена и Римский лимес на Дунае, не сохранившийся вообще. Ну, скажите: разве на такой земле могут жить невеликие люди? Дербент – единственный город, который имеет свою хронику, изданную в одиннадцатом веке. Манускрипт называется «Дарбанд-наме». О значимости Дербента, эпохальности его – памятники вопиют! Не просто слова. Вот стоит. Придите, посмотрите. Потрогайте! Историю Дербента повелел изучать Пётр I. Именно он в 1723 году дал команду учитывать надписи на камнях, собирать для кунсткамеры старую утварь. Мы обращались к патриарху Алексию: «Если Дербент в составе России...» Оно же так?

Я кивнул.

– тогда христианству в России не тысяча, полторы тысячи лет. Здесь доказывать ничего не надо. Ведь несерьёзно не признавать древности города только потому, что в России узнали о его существовании слишком поздно. Дербент ещё в пятом веке был центром христианско-кавказской Албании. Здесь располагался святой патриарший престол. Здесь жил патриарх Кавказской Албании. Дербент – один из самых древних христианских городов.

Помню, к нам приезжал посол Франции в СССР, ходил по городу, изумлялся:

– Вы интересный народ: ходите по деньгам и ленитесь нагнуться за ними. Вам что не жалко?

В советские времена я был моложе, хулиганистей и занимал должность начальника культуры Дербента. Самовольно вышел на Интурист в Москве. Это в те времена!.. Они приехали сюда, увидели всё своими глазами, загорелись. Совместные планы созрели: масштабные, дерзкие. Они разработали маршрут: туристы прилетают в Махачкалу, размещаются в гостинице «Ленинград», посещают Дербент, потом – в Баку. Я уже руки потирал...

Вопрос вынесли на обсуждение в бюро обкома партии.

Интурист заливается о выгодах: прибыль в валюте, авторитет в мире, культурные связи... Я стою рядом, поддакиваю. И вдруг, в разгар пламенной речи, член бюро генерал-майор Бойко, начальник КГБ Дагестана, заявляет:

– Товарищи, уровень культуры жителей Дербента не позволяет пускать туда интуристов.

Я не утерпел:

– Товарищ генерал, мы же не собираемся туристам устраивать встречи с местным населением: они подъедут на автобусе, гид их проведёт, всё расскажет.

– Нет. Я знаю, у вас по улицам ходят и матерятся...

– Вах!!! А в Москве не матерятся?..

– Семечки лузгают!

– В Москве ещё хуже...

Бойко родился в Азербайджане и прекрасно знал родной язык.

Он мне по-азербайджански:

– Лал-ол!

Члены бюро головой крутят, не понимают, что он мне буркнул, но я-то его понял очень даже: «Заткнись!»

Бюро поддержало его, не нас. Как же – КГБ!

Интурист чуть с ума не сошёл...

Так накрылся наш план.

А теперь мы должны к этому вопросу вернуться и развивать туризм. Другого пути просто нет. Дербент – сокровище России. Мы должны сами им гордиться и людям показывать.

История – она разная... Сегодня нам дали свободу слова, и мы давай

трепаться. У нас ни героев не осталось, ни святых. Царь у нас – «кровавый Николашка». Да, Боже мой! Я всем привожу примеры: не было б царя, Дербент бы погиб. В девятнадцатом веке здесь выращивали марену: растение, из коры которого делали краб – краситель красного цвета. Текстильные предприятия Российской империи работали на этом крабе. В Дагестане всё было засажено мареной. В городе тогда жило примерно одиннадцать тысяч человек, ещё до сорока тысяч «лопаточников» спу-скалось с гор: работали на полях, перекапывали, окучивали, поливали. Все они на этом зарабатывали кусок хлеба, когда неожиданно появился искусственный краситель, по цене значительно дешевле. Это был крах. Здесь в одночасье все стали нищими, всё пришло в упадок. Люди голодали. Кто мог, уезжал на Восток. И тогда Александр, царь-батюшка, которого мы называем «кровопийцем», обязал российских текстильщиков Морозовых, Барановых, покупать марену в Дербенте в течение восьми лет по цене, которую назовут горцы. Разницу им выплачивали из царской казны. Считается: «колониальный режим». Разве «изверг кровавый» пойдёт на такой шаг? Подобных примеров из истории российско-дагестанских отношений много. Почему-то про них никогда не вспоминают, стараются обойти стороной... Великий Расул Гамзатов сморозил чушь: «Мы добровольно в состав России не входили, и добровольно отсюда не уйдём!»

Дербент-то как раз вошёл добровольно...

Моим первым собеседником оказался Гусейнбала.

Первая встреча и сразу – попадание в «десятку». То, что он поведал, и есть моя цель. Для этого и приехал в Дагестан, найти таких людей, как он. Людей, которые беззаветно любят свою родину, гордятся своей историей и главным делом жизни считают процветание страны. Вот бы в каждом районе отыскать такого...

Из этих людей-звёздочек в итоге и сложится созвездие Дагестан.

– Скоро мы собираемся отмечать Дербенту пять тысяч лет. Российские учёные считают «неправда», мы настаиваем. Я со своей стороны предупреждаю: если не согласятся на пять, будем отмечать семь тысяч. Нас не остановишь... Я – больной человек. И моя болезнь – Дербент. Моя мечта распространить её на других людей. Мы ввели в средней школе новый предмет «Дербентоведение», сумел убедить главу администрации. Учебник написал сам, программу составил сам...

Я не удержался от аплодисментов, чувствуя, что болезнь Гусейнбалы незаметно перекинулась на меня. И я счастлив этим.

А на следующий день за праздничным столом интеллигентный мужчина, элегантно поправив очки в золотой оправе, поднял бокал и произнёс тост:

– За Дербент и его окрестности: Тель-Авив, Баку... Москву. Как иудей, я поставил Тель-Авив на первое место, чтобы никому не было обидно.

– Кто это?

– Сави Ханукаев.

В горах кратчайший путь – с вершины на вершину. Я так и передвигался: от одного уникального собеседника к другому. Ни вина, ни закуски за столом меня больше не интересовали... Ждал перерыва, чтобы познакомиться с интересным незнакомцем.

– В чём отличия Дагестана, спрашиваете? Да во всём!.. Здесь люди концентрированнее. Про Дербент, надеюсь, вы уже слышали. И какая империя это построила? Персидская. Она правила миром восемнадцать столетий. Мало какие империи существовали дольше: Монгольская – триста лет; Рим – семьсот лет; Византия – восемьсот лет. Персия существовала восемнадцать веков. Восемна-а-адцать! Сегодня отношение к Востоку в мире несколько пренебрежительное. Зря... Когда дело касается спортсменов, там понятно: стал человек чемпионом мира или олимпийским чемпионом. Хочется услышать о себе доброе слово от каждого. Но нельзя быть навязчивым. И до тебя были чемпионы, после тебя будут. Ну, нельзя же всю мировую культуру замыкать на одном лидере. Пусть даже невероятно успешном. Ну, не бывает так... Нужен диалог. Даже если враги сталкиваются... Они выходят на ринг с желанием «убить». Один другого в нокаунт, в нокаут посылают. Но ведь после боя встают, обнимаются. Даже враги. Нельзя искусственно возводить барьеры между цивилизациями.

Я не знаю, что лучше-хуже. Не стану судить Европу. Кто я такой «судить»? Однако свой выбор сделал. Поездил по миру, побывал везде. И не выбрал бы ни Европу, ни Соединённые Штаты. Там много моих родственников, много близких. Они уехали не потому, что там сильно хорошо, потому, что здесь плохо. Был период такой – плохо. У евреев вообще высокий порог тревожности: они тонко чувствуют опасность и пытаются retirоваться до пиковых моментов.

На Востоке есть чему поучиться всему миру. В Дагестане слово старшего – авторитетней суда юридического. В вопросах учиться-жениться решение родителей для детей – высший вердикт. Конечно, мы для дочери просивали претендентов, не опускаясь до указаний: «Выйди замуж за

этого!» Ни в коем случае! Был выбор: три кандидата, которые подходили нашей семье. Коллегиально, всей семьёй сидели, обсуждали их, приходили к какому-то мнению: «Вот этот парень нам кажется наиболее подходящим». Ведь девочка, познакомившись с любимым, найдёт в нём что-нибудь хорошее. Ну, любимым... То же самое мальчик... Потому что человек созрел и готов открыться, сблизиться. Вопрос любви для меня не стоит вообще. Я сам женился не по любви и считаю подобный брак правильным – брак, где расчёта несколько больше, чем чувств. Это восточный менталитет. Обратите внимание: брак по любви в европейском варианте не приводит к желаемому. Где там многодетные семьи? Где общество? Народ? Если нет больших семей, нет будущего у страны.

Евреи, когда что-то делают, остановиться не могут. Я полностью приверженец восточной методики воспитания. Не предлагаю отпрысков гнобить... Просто родители должны иметь на собственных детей не какое-то влияние – прямое. Прямое влияние до самой смерти. Почему в других цивилизациях не так? А вот почему: никто не берёт на себя ответственность за принятые решения. Детям говорю: «Я готов принять даже вашу нелюбовь за те решения, которые принимаю». Убеждён, со временем они будут отцу благодарны. Возможно, это произойдёт не раньше, чем покину свет. Тогда они скажут: «Отец был прав». Вы спросите, почему в этом уверен? Потому, что так же думал и я. Когда мне было пятнадцать лет, мой отец заблуждался, а когда исполнилось тридцать – он стал для меня воплощением мудрости. Дай Бог, чтобы родителей, не перекладывающих свою ответственность за детей на садик, школу, милицию, становилось больше.

В мусульманстве философия жизни проста. Возможно, слишком проста. У них: Аллах дал, Аллах взял. Любого человека, в любом возрасте. Сына, дочь... Средний мусульманин и на лекарство тратит в разы меньше, чем остальные религии. Об этом предупреждают медики, сигнализируют фармацевты. К собственному здоровью, к жизни мусульмане относятся менее серьёзно. Поэтому и смерти на Востоке боятся в меньшей степени, чем в других цивилизациях. У иудеев, христиан отношение к жизни более трепетное... Без фанатизма.

И вам желаю веры и меры.

Всё, о чём рассказал Сави, для меня – эликсир. Под его восточной системой воспитания готов подписаться и я. (Очевидно, моя первая жизнь прошла в Дагестане.)

Саид Мусаев, заведующий отделом архитектуры, и приятная сотрудница музея-заповедника «Дербент» Айна стали моими экскурсоводами.

– Чтоб вам было легче, зовите меня «Аня».

– Меня Александр, но раз главное, чтоб легче, тогда «Ахмед».

Дербент без преувеличения можно назвать перекрёстком многих религий, вторым Иерусалимом, городом, где на протяжении веков прекрасно уживались представители различных конфессий, где веротерпимость, которую теперь называют толерантностью, была характерной чертой горожан. На протяжении многих веков в городе бок о бок живут представители различных религий: ислама, христианства, иудаизма. А ещё в пятом веке христианам армяно-григорианского направления пытались навязать зооастризм.

Саид предложил посетить главную мечеть Дербента – Джума-мечеть, самую древнюю в России.

Джума-мечеть построена в 115 году по календарю хиджры (в 733-734 годах от Рождества Христова) арабским полководцем Масламой ибн Абд-ал-Маликом. На куполе мечети символ шиитской ветви Ислама – возведённая рука Фатимы, дочери пророка Мухаммада. Над главным входом надпись на арабском. В переводе она гласит: «Любовь к родине происходит от веры». Согласен!.. Внутри таинственный полумрак. Тихо журчит молитва правочерных. Сидя на коленях, они погружены в благоговение, изредка склоняются к ковру; сосредоточены на общении с Аллахом. Мечеть разделена на шиитскую и суннитскую части. Два ряда аркад со стрельчатыми сводами, переплетая на помосте тени столбов, уходят в сумрак.

Во дворике три огромных платана удерживают своими развесистыми кронами небосвод. Богатырский торс их – в четыре охвата. Возраст более семи веков! Даже в густую июньскую жару мы нашли под их покровительством покой и прохладу.

На Востоке ничего не просто так... Даже деревья.

Крепость «Нарын-кала».

Эту цитадель каждый должен увидеть лично. Стены, башни, ханский дворец...

Саид посмотрел вниз с высокой башни:

– Отсюда сбрасывали неверных жён хана.

– А сам хан изменял?

– Нет. Хан однолюб – любил только свой гарем.

Мы шли по отшлифованным временем камням вдоль ханского дворца.

Невольно меня привлекла яркая надпись на стене: «Здесь был Фарида».

Саид пояснил:

– Сколько бы этот автограф не стирали, кто-то постоянно восстанавливает. Президент России приезжал к нам в 2006 году. Во время экскурсии в крепость он остановился у этой надписи, смеётся: «У вас тоже придурков хватает».

Купольные сооружения, углублённые в землю, – ханские бани. Там моечные, раздевалки. Вон под тем большим куполом находился бассейн для омовения ног. Самое интересное – система отопления: в стенах проложены керамические трубы с горячим паром; одновременно нагревалась и сама моечная, и вода. Имелись отдельно женские банные дни, отдельно мужские. Если мужчина в женский день глянет в ту сторону – ему выкалывали глаз. Если женщина, то оба глаза.

– А как же джигиты подглядывали?

– Могли подглядывать лишь те, кто надзирал, чтоб не подглядывали другие.

– Справедливо.

Вдоль наружной стены по узким наклонным улочкам мы направились к морю.

На автобусной остановке девушка, не отвлекаясь на прохожих, штудировала материал.

– Абитуриентка, судя по всему, – прокомментировал Саид. – Сейчас пора вступительных экзаменов. У нас на учёбу мода.

Я вспомнил: по заверению Гусейнбалы Гусейнова, в Дербенте в каждом подвале, на дому, либо институт, либо академия. На город приходится семьдесят вузов! Вот здорово, если б воскрес Гиннесс, приехал сюда лично, собственной персоной, и завёл для Дербента отдельную Книгу рекордов.

В одном месте дорогу нам преградил высокий забор из профнастила:

– По идее, охранная зона для памятников ЮНЕСКО составляет не меньше восьми метров. Запрещены любые пристройки, к памятнику должен быть обеспечен свободный доступ. И сам видишь: вплотную к крепостной стене – огромный торговый комплекс. Теперь в этом месте к стене не подойдёшь даже с удостоверением сотрудника музея-заповедника. Пытались с прокуратурой, охрана не пускает: «частная собственность». А вот домик Петра I, здесь тоже частный сектор. Есть владелец, сдаёт жильё в аренду. Договорились, чтобы экскурсии запускали. Пока соблюдают.

Мы подошли к ржавым металлическим воротам. Саид постучал. Нам открыла женщина, молча отошла в сторону, пропуская. На маленьком

захламлённом дворе маленькая девочка играла с куклой. Саид, между тем рассказывал:

– К сожалению, сам домик не сохранился, колоннада осталась. Её плохо видно, сарай пристроен. Пётр I приезжал в Дербент в 1722 году. В 2022 событию исполнится 300 лет. К этой дате, по логике, нужно бы выкупить у хозяев строение, музеефицировать место, сделать его пригодным для посещения туристов. Есть богатые материалы о посещении императором Дербента, чтобы со всего мира приезжали, смотрели.

– Не хочется фотографировать пустой пьедестал... Подними на него девочку... вместо памятника. Для истории.

Девочку установили... Саид придерживал:

– Ровно встань, на дядю смотри. Молодец!

* * *

Закончилось моё знакомство с Дербентом...

Я ступал по древней земле цитадели, невольно ощущая сопричастность окружающему волшебному миру. Ловил холодок взгляда крепости, жар дыхания, вслушивался в застывшую в камне музыку, и она будила во мне радугу чувств: радости и одиночества, торжества и величия. Правы аксакалы: воздух Дербента пропитан особой энергией предков. Являясь на протяжении тысячелетий ареной кровопролитных войн, подвергаясь постоянным нашествиям, разрушениям, он сохранил удивительную способность, подобно мифической птице Феникс, вновь и вновь возрождаться из пепла. Убеждён: фантастическая птица под названием Дербент, когда-нибудь возродится из пепла!

Нина Турицына

КАВАЛЕРЫ ПРИГЛАШАЮТ ДАМ

У выпускницы пединститута Марины ее первый учебный год в школе начался с неожиданности. 30 августа вызывает её завуч Зоя Ивановна и говорит:

– Вам, Марина Викторовна, придется взять еще выпускные классы. У нас пока не будет литератора.

– Пока? Это ненадолго?

– Боюсь, что на весь год. У Ангелины Ивановны тяжелая травма позвоночника плюс букет хронических болезней.

– Но Вы говорили, что у меня для начала будут только 5-6 классы...

– Хотите, чтобы школа стала Вам родной – выручайте! Остальные литераторы у нас имеют и так чуть не две ставки. Да Вы не бойтесь – молодых учителей они любят больше, чем нас, стариков.

Утешила! Понятно, что из старых учителей никто не хочет брать чужой, да еще выпускной класс и нести ответственность за экзамены. Подбодрила классная руководительница выпускного класса: – Марина Викторовна! Слышала, что Вам литературу в моем классе дают? Вы, главное, свой страх перед ними не показывайте – это вам мой совет. А так – ребята у меня неплохие. Сработаемся!

– Спасибо!

Пятиклассники приняли хорошо. Непоседливые, но не вредные. Всё время заглядывают в учительскую – на новенькую училку поглядеть. И она, как перемена, – к ним.

– Как дела? Что задали?

Дневник замечаний проверяет. Вот учительница биологии жалобу написала. Надо бы зайти к биологу на урок, посмотреть, как они там, кто больше всех шалит. Сидит Марина за задней партой, как классная дама в дореволюционной гимназии, а биолог – строгим монотонным голосом:

– Медведи – семейство хищных млекопитающих животных. В России

распространены 3 вида: бурый – повсеместно, черный – в Приамурье и Приморье, белый – в Арктике...

– А я видел мишек в цирке! Они смешные, добрые, только неуклюжие.

– Белые медведи в цирках не выступают. А то, что они добрые – это обманчивое впечатление. Это самый опасный зверь нашего Севера. Ударом лапы он может ...

– Вот так вот, Попков! Не знаешь – не выступай!

– Ты много знаешь!

Биологичка в отчаянии: – Дайте классный дневник замечаний! Попков, тебе замечание!

Задание на дом потонуло в шуме и спасительном звонке с урока. С учительницей биологии они вышли из класса вместе:

– Сами видите! Если вы их не возьмете в руки – к концу года они совсем распусятя!

– Да, да, Галина Владимировна, я поняла.

И быстро, пока не кончилась перемена, пошла в раздевалку. Там – большое зеркало. Надо причесаться и подкраситься. Взглянула в зеркало – глаза, конечно, перепуганные, но общий вид сносный – костюм строгий и элегантный, светлые волосы – аккуратной волной до плеч. Стараясь шагать медленно и уверенно, пошла по коридору. Звонок догнал ее на полпути. Она не прибавила шагу, боясь выйти из образа. За дверью класса было шумно. Марина Викторовна переступила порог, и все повернулись в её сторону, разглядывая новую учительницу. Неожиданно властным и твердым голосом она сказала:

– Откройте дневники или тетради. Запишите: Марина Викторовна. Я ваша новая учительница по литературе. Тема урока: современная русская литература. Вводная лекция. Пишут все.

– А с нами знакомиться будете?

– Сейчас – нет. У нас очень плотный график работы.

После урока один из школьников взялся донести до учительской журнал и пособия.

– Как Вас зовут? – спросила Марина, чтобы чем-то занять время в пути.

– Александр Подосёнов. Можно Саша.

– Дамский угодник, – пропел кто-то сзади.

– Не обращайтесь внимания! Это от невоспитанности.

– А я и не слушала. Спасибо за помощь!

Поздно вечером, лежа в постели, она попыталась выстроить в памяти события первого учебного дня в выпускных классах. Но они не выстраивались. Что-то одно, яркое, затмевало всё остальное. И она с удивлением

поняла, что это – мальчик из 11-а. И еще она с грустью подумала, что давно на нее ТАК никто не смотрел. Со времен её 11 класса.

А тогда, шесть лет назад... Этот полудетский роман так и забылся с окончанием школы. А потом она поступила на филологический факультет пединститута, где мальчиков вообще не было. Впрочем, что о нем думать. Он мальчик, ученик, а она – учительница. Марина Викторовна уютно свернулась под одеялом и уснула.

И вот – первое сочинение в её классе.

– Тема...

– Как я провел лето?

– Не угадали. В 11 классе такие сочинения уже не пишут. Давайте -ка лучше «Как я представляю свое будущее». Срок – неделя. И я вас лучше узнаю, и каждый из вас сможет задуматься о себе. Через неделю она читала, кто где собирается учиться и кем стать в жизни. А вот и его, Сашина тетрадь. Четким уверенным почерком было написано нечто невообразимое. Как будто школьное сочинение, а по сути – частное письмо.

«Когда я думаю о будущем, я прежде места учебы или работы представляю себе любимую, которая будет со мною рядом. Мне кажется, я уже ясно вижу ее – блондинку с синими испуганными глазами. Если б она тоже полюбила меня! Вот это и было бы то будущее, о котором я мечтаю».

Она не знала, какую оценку следует ставить за такое сочинение, и поставила робкое «см».

Когда принесла на урок стопку сочинений и, не решаясь смотреть на Подосёнова, всё же заметила краем глаза, что он нарочито-равнодушно раскрыл тетрадь, мельком взглянул в нее и тут же сунул в портфель. Потом по программе был Солженицын, и Марина Викторовна назвала его Толстым XX века. Подосёнов вдруг тихо, но внятно произнес:

– Да неактуально уже всё это.

Только теперь Марина Викторовна обратила внимание, что Подосёнов какой-то слишком холерный и изнеженный. Конечно, Солженицын – не его писатель.

Но после уроков Подосёнов неожиданно оказался рядом и пошел с нею по пустынной темнеющей улице.

– Марина Викторовна, Вы обиделись на меня?

Она облегченно вздохнула – нет, не такой уж он бесчувственный, просто мальчик из очень благополучной семьи. И она с легким сердцем ответила:

– Нет.

Он продолжал идти рядом и просительно заглядывал в глаза, явно ста-

рался загладить вину. Так они шли и разговаривали о школе, о книгах, о каком-то фильме, которого она все равно не видела. Наконец она остановилась возле своего парадного.

– А я, оказывается, живу недалеко от Вас. Всего два квартала отсюда.

Через неделю в тот же час они опять оказались вместе на выходе из ворот школы, и опять пошли рядом домой.

В школе начали подготовку новогоднего представления. Марине Викторовне казалось, что Подосёнов должен быть тут главным заводилой. Но – не угадала. Он посматривал на всё с видом презрительно-покровительственным. У него уже стала пробиваться растительность, и он нежно холил ее, делая подобие испанской бородки из десятка волосков. Девчонки заглядывались на него, а он на всё смотрел туманным взором. Но на маскарад все же явился настоящим испанским грандом в богатом черно-белом наряде.

Марина Викторовна издалека увидела Подосёнова. Каким он сегодня взрослым кажется. Или это она кажется иногда себе девчонкой?

Учителя заняли первые ряды. Марина Викторовна старалась сидеть очень прямо и голову держать как можно выше. Где-то сзади сидит он и смотрит на нее. Но постепенно она заразилась общим весельем, увлеклась спектаклем и забыла обо всем. После спектакля начались танцы. Учителя постарше стояли строем, оберегая чистоту нравов. Стайка молодых учительниц не выдержала и тоже пустилась прыгать и вертеться. А потом ведущая объявила:

– Медленный танец. Кавалеры приглашают дам.

Единственный школьный мужчина, еще не старый и даже симпатичный, учитель труда и военной подготовки, оглядел зал с видом охотника. В зал вошел директор, но чувствовать себя на школьном празднике мужчиной ему не позволяла должность. Он постоял, посмотрел и вскоре удалился.

Откуда-то сбоку раздался знакомый голос:

– Можно вас пригласить?

От неожиданности она произнесла вслух то, о чем только что размышляла:

– Мне уже пора домой.

Подосёнов изменился в лице, но исправлять что-либо было поздно, и она торопливо ушла домой.

После каникул Подосёнов смотрел на нее со своей парты грустным взглядом, но провожания по вторникам прекратил.

– Наплевать и забыть, – говорила она себе, но на душе было пусто и одиноко.

Так прошло два месяца, а к Женскому дню кто-то – явно отдельно от общего подарка – положил ей на стол коробку Рафаэлло» и записку «Когда не хватает слов».

На уроке она встретила его взгляд и благодарно улыбнулась.

Он снова ждал ее у ворот школы. Они пошли рядом, как будто ничего не случилось, как будто не было целой зимы отчуждения.

– Долго Вы меня мучили, – он смотрел на нее, не отрываясь, веселыми глазами.

– Я больше не буду, – сказала она, как говорила в детстве, провинившись.

Он зашел за нею в подъезд и взял ее за руку. В подъезде были полумрак и прохлада.

– Мы скоро окончим школу, – грустно произнес он.

Она хотела ответить банальностью о поступлении в институт, но подняла на него взгляд и ничего не смогла сказать.

– Мне будет очень грустно без вас. А вам?

– Наверно, тоже – ей не хотелось притворяться.

Тогда он наклонился и поцеловал ее в щеку. Где-то наверху хлопнули дверью. Она побежала к себе, не попрощавшись.

На следующий день она ждала новой встречи у ворот.

А потом еще, еще...

– Марина! – однажды просто сказал он – ты тоже любишь меня?

Он как будто не задавал вопроса и не требовал ответа.

Или давно сам догадался, каким должен быть ответ?

Кто знает.

А однажды он остановился за два квартала до ее дома и задержал ее руку в своей.

– Хочешь посмотреть, где я живу? И чтобы она не отказалась, добавил:

– У нас дома много интересного.

Но она всё не решалась, и он высказал главный аргумент:

– Через год мне исполнится 18, и я тебя всё равно познакомлю с родителями...

И правда, чего ей бояться? Среди бела дня? Собственного ученика?

Они вошли в лифт, и он нажал кнопку.

Дверь их квартиры была самая обыкновенная. Наверно, чтоб не привлекать внимания грабителей. Зато за нею – настоящее царство изящества и роскоши. Хозяйева являли хороший вкус и разнообразие интересов: богатые библиотека и фонотека, множество записывающей и воспроизводящей аппаратуры, парад богемского фарфора, классического и авангардного, за стеклом красивой горки.

– Кто твои родители?

– Люди со средствами. У них свой бизнес. Ну, и с верхним образованием, естественно.

Немного расплывчато, но настаивать на уточнении Марина не стала.

– Сначала мы поедим – его тон не допускал возражений, – а потом я буду тебя развлекать. После обеда они перешли в гостиную. Он включил аппаратуру, и полилась чудесная музыка.

– Я надеюсь, что у нас совпадут вкусы. Как тебе Синатра? Подходит?

– Вполне.

– Черт с ними, с текстами, я в них не вникаю. Но можно танцевать. Если ты не против. Тогда, на новогоднем вечере, ты мне отказала. Теперь не откажешься?

Музыка почему-то не кончалась. Она длилась и длилась... До головокружения.

– Я люблю тебя. Мы всё равно будем вместе. Я не знаю, как жить без тебя. Горячие мощные волны подхватывают Марину. Захлестывают ее всю. Это грех. Но это невольный грех. От головокружения любви. Сколько прошло времени? На улице еще светло.

– Я провожу.

– Не надо.

– Надо! – Властно и нежно говорит он.

Утром она просыпается с мыслью: «Хорошо, что уроки уже закончились».

Она бы не смогла теперь вести у них урок. Осталась консультация, а на экзаменационном сочинении она может сидеть и в другом классе. Еще несколько дней на подготовку отчетов. Но вот через пару дней она входит в учительскую, – и громкий разговор замолкает на полуслове при её появлении.

Она здоровается – ей никто не отвечает, как будто её нет. Спросить бы хоть Галину – уж её-то она столько раз выручала! Но та стремительно уходит, враз оглохнув.

Рабочий день закончился. Можно идти домой. Дома она решает позвонить завучу. И слышит в ответ:

– Больше сюда звонить не надо.

Утром она приходит на экзамен, но вахтерша велит ей идти к директору.

– Можно войти?

– Входить ко мне не надо. Можете идти домой.

– А экзамен?

– Без вас.

Она поднимается к себе, пытается открыть ключом дверь. Рука дрожит. Ключ не попадает в скважину. На шум выходит соседка:

– Утром принесли заказное письмо. Оставили мне.

Дверь, наконец, открылась. В прихожей она смотрит на конверт. Это повестка в суд:

«Привлекается... за растление несовершеннолетнего... моральный ущерб... видеозапись...»

Последняя строка расплывается перед глазами. Что он еще включал, кроме музыки?

Она сползает на пол прямо в прихожей.

«Всегда есть выход».

Только у каждого – свой. И как-то кстати вспомнилась статья из популярной газетки о крайней неэстетичности любого из этих выходов.

Нет, надо сделать по-другому. Чтобы трупа просто не было. Или чтобы его никогда не нашли.

Исчезнуть. Раствориться. Камень на шею – чтобы не всплыть.

И почему-то мысль о камне её утешает больше всего, и тяжелый камень ей представляется главным облегчением в ее беде.

Ульяна Шереметьева

* * *

От грозы не осталось следа –
только луж городских слюда,
отразившая неба синь
в неизбывности «ян» да «инь».
Тишиной опечатана явь...
Если можешь, возьми, представь,
как растёт поутру трава,
как приходят на ум слова,
как сплетаются стебли нот
в колыбельную и фокстрот,
как с рассвета туман сорвав,
по саванне плывёт жираф,
как щекочут волну лучи...
А не можешь – тогда молчи.
Лучше вслушайся в эту тишь,
сколько звуков, когда молчишь!

ДИАЛОГ У ОКНА

– Расскажи, а зачем эта белая,
долго в окна глядящая даль,
это сердца движенье несмелое? –
Это просто зовётся – январь.
Это слыше, как дань неизбежности,
чтобы с первым порывом весны,
прорастали бы всходами нежности
чёрно - белые зимние сны.

– Расскажи, отчего ж эта белая
даль изводит и душу томит? –
Чтоб весна не была скороспелую,

А не то, как огонь – опалит.
Чтоб за время её ожидания,
Очищаясь от смуты грехов,
Мы вникали бы в суть мироздания,
Открываясь для новых стихов...

* * *

Тихий шелест, в полтона лишь...
То дожди отпевают лето.
Сиротливо в окно глядишь –
вместо улицы – катит Лета.
Лодки Audi и Porsche,
сбились в стаю, и, день листая,
обнажённое экорше
я сейчас, и почти пустая
в стильной комнате вновь одна –
накаляющейся нитью...
Пробиваясь ростком со дна
осеняет меня наитье...

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ

«Мороз и солнце – день чудесный!»

А. С. Пушкин

Снег выпал прямо к Рождеству,
и город стал открыткой зимней.
Всё, словно как по волшебству –
мороз и солнце, колкий иней!
Не отрываться б от окна...
А лучше – в лес, где больше снега,
где в детской радости чудес
вдруг возникает жажда бега!
И хочется играть в снежки,
на санках лихо с горки съехать,
следов разгадывать стежки
на тропках или звуки эха.
Ворсистой варежкой смахнуть

сугроб с пенька, чтоб отдышаться...
Ну а потом в обратный путь,
а с лесом – даже не прощаться.

Но вскоре сменит вечер день,
чтоб написать свои страницы...
Ему волшебному не лень
наполнить запахом корицы
квартиры, тишину впустить,
мелодией сопровождая,
зажечь огни - желаний нить,
чтоб каждый, чуда ожидая,
забыл о суетности дней,
где вперемижку – труд и встречи,
и бег в поспешности затей
с погрешностью на миг..., а вечер
в снег пеленает ночь одну,
как будто кроху в полотенце...
И видишь наяву Звезду
и в яслях спящего Младенца...

* * *

Мыслью некогда растекаться по древу,
да и Хронос не ведает про усталость.
Хоть хранит он в себе и Адама, и Еву,
намекнёт непременно, а сколько осталось...
Каждой меткой секундной, что пальцем по лбу,
постучит и напомнит тебе об уроках,
фейерверком назвавши пустую пальбу
по несбыточным целям в отпущенных сроках...

Вадим Фадин

В ПОЛЬЗУ РОМАНА

Многознание ума не прибавляет
Гераклит Эфесский

Книги, увы, сопутствуют в жизни далеко не всем. И не всякие книги. В последние годы стало очень заметно, как, пренебрегая художественным словом, бывшие читатели стали обращаться к мемуарам, документалистике, вообще – к прикладной литературе: то ли мода пришла, то ли человек измелчал, но они искренни в своём новом пристрастии, объясняя, что там, мол, всё подлинно, одни случаи из жизни, – не ведая, что как раз там автору всего легче покривить душой, пусть и ненароком, и что лишь против собственного вымысла, в романе, согрешить невозможно (в романе? – но я для краткости и всякую художественную прозу стану здесь именовать романом).

Спрос рождает предложения, и многие издатели охотно берутся за сочинения, имеющие документальную основу. Стоит в аннотации упомянуть, что в основу сюжета положен действительный факт – и произведение повышается в цене: ему словно бы присвоен пресловутый знак качества, хотя на самом деле для романа клеймо «Основывается на действительных событиях» является верным признаком неудачи. Оно значит только, что автор, не смея в своей работе пренебречь общеизвестными фактами и мнениями, не мог полностью выразить себя.

Мне вовсе не хочется клеймить здесь научно-популярную или документальную литературу как таковые. Без них молодые люди вступали бы во взрослый мир недорослями. В молодости хочется знать всё – вот и хорошо бы читать всё подряд, накапливая знания, чтобы потом пристроить их к какому-нибудь делу (непреренно – к делу, потому что трудно понять энтузиастов-эрудитов, без усталости набивающих свой ум новыми данными, вовсе не умея обратить их на пользу кому бы то ни было). И хорошо бы потом вовремя остановиться.

От автора популярных текстов, неспециалиста, неловко требовать скрупулёзного знания предмета, да он и не знает, он же часто не специалист в нём, и у него где-нибудь да вкрадётся неточность, что-нибудь он да упустит, что-нибудь да приукрасит. И это не вся беда, гораздо хуже, что

чтение прикладных сочинений, тем паче – газет, не только не требует работы воображения, но и гасит его за ненадобностью; оно включается лишь при чтении художественных текстов. Здесь, кстати, лежит и объяснение того, что многие к старости вдруг начинают не в меру интересоваться мемуарами в ущерб роману, словно фотографиями – в ущерб живописи: с годами воображение угасает, и тогда воспринимать искусство становится не под силу. При этом степень достоверности чужих припоминаний бывает несущественна, ведь они читаются в возрасте, когда добытые факты всё равно уже нельзя приспособить к делу.

Тут, впрочем, всё связано одно с другим, и живое воображение не только необходимо для восприятия художественных текстов – оно ими же, в славной компании со сказками и детскими играми, рождено и развито. В конце концов, на чём мы все выросли? Да именно на романах и выросли... Ну, хорошо, отступлю на шаг назад: на художественном письме. Оттого что сказки, рассказанные нам бабушками, оттого что и они суть художественная литература и романы.

Нынешних детей не оторвать от телевизора, хотя отказ от книжки ради готовых картинок мультика – это погибель в зародыше всякой фантазии. А когда-то (я обращаюсь к собственному далёкому, довоенному детству) всё начиналось с бабушкиных сказок. Не было на свете телевизоров, мультфильмы в кинотеатрах были совсем не частым удовольствием, а вот домашние сказки сказывались ежедневно, и детям приходилось, слушая, каждому по-своему представлять себе то Кощея Бессмертного, то Царевну-лягушку (между прочим, не такое это простое дело – не имея образца...). Потом, по мере взросления, на смену устным сказкам приходили книги, и труд воображения усложнялся и уже никак не мог быть исключён. Но смею утверждать, что он начисто исключается при рассматривании на экране движущихся картинок: ну, бежит кошка за мышкой...

Здесь надо бы срочно оговориться: меня могут посчитать ярым противником кинематографа; в действительности ж я большой его любитель. Всему, однако, своё место и время.

Что же до необходимости всем читателям, какие есть, разжиться воображением, то я приведу лишь несколько фраз из прозы классиков (чтобы не приводить в пример вообще всю их прозу), которые трудно или даже нельзя было бы понять, если не напрягать воображение; в буквальном исполнении они совершенно теряют смысл. Вот они:

...выходя... оставлял сапоги в сенях и отправлялся вновь на собственной подошве.

...то, что было грязно...так и оставалось грязным, не принимая привлекательной наружности.

...по стенам поднимали ножку балетные снимки.

...они говорили мало, говорить было слишком темно.

...тяжёлый, словно всю жизнь наполненный гроб.

И так далее. Объяснять метафоры никогда нет смысла. Просто над каждым из приведённых отрывков приходится задуматься хотя бы на секунду, сравнить с чем-то своим, прежде всего вообразив ситуацию.

Сегодня принято считать, что современные дошкольники как раз благодаря телевидению знают больше, чем прежние ученики, одолевшие, скажем, начальный курс; не спорю, это так, но и не совсем так, потому что разглядывать изображение – вовсе не то, что задумываться над фразой. Беда же в том, что кино с его готовыми картинками (и телевидение, естественно, но я опять буду пользоваться общим термином) предъявляет к воображению довольно скромные требования, и зрители постепенно привыкают обходиться почти без оного; им больше не нужно выдумывать своего Кощея, если его портрет уже всем показали на экране (я имею в виду только зрительный ряд фильмов, но не диалоги, которые в принципе могут иметь собственную, отдельную ценность именно как факты литературы). Бывает, что важные мелочи на изображениях пропадают без толку, оттого что глаз попросту не знает, на чём нужно остановиться – на плохо повязанном галстуке, на манерно оттопыренном мизинчике дамы, пьющей чай, на размоченных кусочках бисквита... Авторы фильма, конечно, могут помочь, допустим, наездами, голосом за экраном – но это будет уже нарочито, грубо. Зато в художественных текстах не бывает лишних слов: каждое, если уж написано, что-то значит для писателя – в противном случае он бы им пренебрёг. Если он, например, одевает своего персонажа в коричневый костюм, то одно лишь слово «коричневый» – это уже целая характеристика.

Если угодно, вот развёрнутый пример.

Не знаю, экранизирован ли рассказ Набокова «Весна в Фиальте», но позволю себе представить, как выглядела бы в кино его развязка. Там три персонажа уезжают из города на жёлтой спортивной машине – и разбиваются. В фильме нам, вероятно, мельком показали бы замечательный яркий автомобильчик, а потом – безрассудную гонку по серпантинам, то ли азарт, то ли отчаянье в глазах водителя, стрелку спидометра, дрожащую у невероятной цифры, колесо, скользящее у самой кромки, над пропастью, разорванный, истекающий тормозной жидкостью шланг... А перед всем этим – трое садятся в машину и уезжают, не более того. Уезжают – но это уже почти финал фильма, – а у зрителя нет дурных предчувствий, он, скорее всего, предвкушает happy end, какую-нибудь голубую дорогу вдаль, с машиной, трогательно, как Чарли Чаплин с тросточкой, уменьшающейся в перспективе.

Но вот как это звучит у Набокова: перед выездом этот жёлтый, похожий на жука «автомобиль стоял ещё неподвижно, гладкий и целый, как яйцо...». Я очень хорошо помню, что, читая рассказ впервые, на этом месте с абсолютной уверенностью почувствовал, что автор непременно разобьёт машину – и с такою уверенностью и читал дальше. Он и разбил.

Подобное предчувствие беды не передать изображением, не внушить средствами кино, при всех его цвете, звуке и стереоскопии. Но одно точное слово писателя – и я уже знал всё наперёд. Только позже, размышляя о прочитанном, я представил происхождение своей догадки: в Начале было яйцо! Машина была жёлтой, как яичный желток, который можно увидеть, лишь разбив скорлупу. Само же яйцо как предмет – символ хрупкости, и у читателя после набоковской строки остаётся неосознанный привкус несоответствия: целый, как яйцо? Оно же тронь – и треснет... Эта мимолётная неправильность и создала предчувствие скорого несчастья, автомобильной катастрофы – ещё не описанной, но уже предъявленной воображением.

Излишне говорить о том, что и Набоков тоже не был очевидцем крушения.

Зато можно говорить о том, что и обыкновенно сцены, в которых автор даёт волю фантазии, как правило, выходят живее и правдивее (это не оговорка) тех, что честно списаны с натуры, если только особенно позаботиться о слоге: стиль, оказывается, чужд фальши. При скрупулёзной отделке фразы как-то само собою получается, что несообразности и ложные утверждения проявляются как дурно написанные места, и добросовестная работа над стилем приводит к изгнанию неправды. И трудно оспорить Жюлья Ренара, когда-то определившего: «Плохой стиль – это несовершенство мысли».

То же – и о персонажах прозы. Автор художественного произведения всегда знает, что пережил, что думал, думает и как собирается поступить его вымышленный герой, то есть знает всю правду; кое что потом остаётся про запас в писательской памяти, а кое что заносится на бумагу для читателя; обо всех тонкостях его биографии можно спросить у писателя – и он ответит. Автор же документальной вещи о ком бы он ни писал, никогда не может поручиться за достоверность мыслей или речей своего персонажа; какое бы подлинное письмо он ни переделал для диалога, всё будет неправдой, хотя бы потому что доверенное частной записке не всегда может быть произнесено вслух.

Давая волю воображению, пишущий человек освобождается и сам, и на ум ему приходит что-то давно припасённое и хорошо обдуманное. Тот же Набоков в размышлениях о Гоголе утверждал, что: «Внешние впечатле-

ния не создают хороших писателей; хорошие писатели сами выдумывают их в молодости, а потом используют так, как если бы они и в самом деле существовали», а Феллини высказался совсем уже прямо: «Чем вернее ты воспроизводишь действительность, тем скорее скатываешься к подделке».

У каждого писателя – свой опыт и свой метод: одни, задумав роман, отправляются в так называемые творческие командировки, чтобы собрать какие-то материалы, а самое малое – хотя бы надышаться подходящим воздухом, другие – просто пытаются поделиться всем, что наболело в душе, что накипело... Однако первым – надобно знать меру.

Здесь я вынужден обратиться к собственному опыту.

Я всегда очень много читал (романы и стихи), благо места моей инженерской службы располагались либо в пригородах Москвы, либо на дальних её окраинах, и долгая дорога из центра бывала необыкновенно удобна для спокойного чтения. Мои коллеги, попутчики, тоже не отрывались в электричках или в служебных автобусах от книг, но большей частью – специальных, или от периодики, но – научно-популярной. Естественно, не чужд был подобным интересам и я, недавний студент – во всяком случае, не пропускал свежих номеров таких журналов, как «Наука и жизнь», «Знание – сила» или «Техника – молодёжи». Однако постепенно у меня стало сгущаться подозрение, что такое чтение мешает моему собственному письму, словно после него в голове скапливается бумажный мусор, который всякий раз надо убирать прежде, чем заняться делом; иногда на уборку помещения уходило всё свободное время. Конечно, я немедленно проделал опыт, и стоило мне на пару месяцев забыть о разного рода занимательных физике и механике, как стихи начали приходить охотнее. Не утруждая себя формулировкой этого феномена, я просто сделал практические выводы, перестав интересоваться просветительской литературой в пользу литературы художественной, тем более, что у меня давно уже (во время, в юности) набралась, как теперь бы сказали, изрядная база данных по многим областям знаний, и дальнейшее беспорядочное их накопление становилось пустым делом; оно имело бы смысл лишь если б от этого была возможна отдача – когда б онигодились для какой бы то ни было работы.

Недавно я прочёл где-то, что просвещённым следует считать не того человека, который знает всё, а того, кто знает, где взять то, чего он не знает. Собственно, тому же меня научили и в институте (а я кончал труднейший – авиационный): мои однокурсники, поначалу смущённые объёмом преподносимых нам знаний, исподволь пришли к выводу, что всего запомнить и не надо, а надо, имея за душой упомянутую выше базу, понимать задачу и при необходимости знать, каким справочником воспользоваться.

Смею считать, что я избежал многих неудобств благодаря знанию такого адреса. Что же до бумажного мусора, то он не отвлекал больше, чем я и удовлетворился, не дав себе труда вникнуть в суть явления, как это позже сделал Иосиф Бродский, выведя: «Знаю по своему опыту, что чем меньше информации получает мой мозг, тем сильнее работает воображение». И даже, добавлю, тем ближе и ниже становится порог сочувствия чужой боли.

Воображаемый мир не так уж далёк от нас: с детства все мы видим его существующим параллельно с нашим, реальным. Это мир сказок, а потом – книг, это мир поначалу детских, а позже и взрослых выдумок и игр, без которых ничего не сделается на свете. Да, никакое дело не сделается лучшим образом, если работник не увидит в нём хотя бы отзвуков игры; увидев же – сработает играючи. Работа же художника или писателя и подавно – игра, от начала до конца, у них это – серьёзно. Это серьёзно и у детей, в игре они учатся жизни, разыгрывая выдуманные роли взрослых. Девочки играют в куклы, воображая, что это – живые люди: куклы ходят друг к другу в гости, пьют чай со сладостями, беседуют за столом о чём-то для себя важным, иногда – ссорятся, всё это понарошку, но так и персонажи романов встречаются друг с другом, иногда – пьют вместе чай, а иногда ссорятся и много чего ещё делают такого, что придумает за них писатель, переживающий в уме всё, что с ними происходит; не обладая воображением, роман не напишешь, но и наоборот: не читая романов, воображение не разовьёшь – такой получается замкнутый, заколдованный по-доброму круг.

И всё-таки: для чего люди читают книги?

Если речь идёт о прикладной литературе, то ответ прост: для получения информации – неважно, из простой любознательности или для использования в работе. Если же говорить о литературе художественной, то многие решат, что – для получения эстетического удовольствия: не могут же романы быть примитивными источниками знания, да и научить жить, дать какие-то рецепты поведения они тоже не могут. И не должны. Правильный ответ может показаться неожиданным: романы и стихи читаются тоже для получения информации, но не фактической (иначе зачем бы по несколько раз перечитывались любимые книги?), а той, что припасена в неких тайниках умов самих читателей. Иными словами, художественные тексты тоже являются источником информации, возможно, даже более щедрым, нежели документальные, просто мы извлекаем из них не отдельные сведения или числа, а – новые собственные соображения и выдумки, вдруг возникающие при чтении из попутных ассоциаций, воспоминаний, нечаянных сравнений: мысль читателя цепляется за какую-нибудь неожиданную метафору или просто за удачно написанную, точную фразу, или...

да за что угодно, за любой намёк и тогда начинает жить самостоятельно, ища продолжения, плодя себе подобных и приводя к догадкам и открытиям, часто даже не имеющим общего с прочитанным текстом – вплоть до мыслей о вечности и о Боге.

В следующий раз, при очередном перечитывании того же романа, читателя может задеть совсем другая метафора, и в его уме образуется иная, нежели раньше, ассоциативная цепочка...

В свете этого становятся нестрашными крамольные, казалось бы, слова Шопенгауэра: «Надо меньше читать и больше думать», – потому что не одни лишь изящные затеи вроде сочинения новелл, но и многие, многие случаи в нашем бытии суть игры воображения. Не дай ему волю, и тогда что последние известия по радио, что бабушкины сказки – всё будут пустые слова. Этак даже к описанию тридевятого царства останешься равнодушным, пока не вообразишь себя – в нём, со всеми приключениями в пути.

Но сумеешь вообразить – и тогда уже не грех затронуть и высокие материи, обратиться к теме вечности, оттого что вечно само настоящее искусство, и оттого, что настоящее искусство создано вымыслом – тут достаточно вспомнить творения классиков. Великих обессмертили отнюдь не документальные работы, вечными оказались лишь произведения, рождённые воображением: не секрет, что реальность не имеет отношения к вечности.

Ольга Мельникова

Публикуемый материал является второй частью воспоминаний Ольги Мельниковой. Начало – в журнале «Новый мир», № 11 за 2013 г. Мы практически не редактировали это произведение, чтобы не нарушать своеобразный стиль речи, а также авторское написание и пунктуацию.

ЧАСТЬ II

ТЯРПИ, ЗОСЯ, ЯК ПРИШЛОСЯ!

Запись, подготовка текста, публикация Алексея Мельникова.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Как вытравить плод?

К осени 1938 года моя 26-летняя мама уже имела на руках троих детей: Зина (8 лет), Лена (6 лет), Коля (3 года). А тут опять – беременность! Почему? С одной стороны, не было никаких контрацептивов даже и в помине. Их и через полвека (1988) в Куцевщине не было почти. С другой стороны – предохраняться не торопились, детская смертность была высокая. Даже и позже (на 15 лет) Шурик, первенец Зины, помер без всякой войны! Беременность, возникшая осенью 1938 года, это была я. Мама рожать не хотела: «Чем лишний рот кормить? Когда с дитем возиться? И день, и ночь в колхозе робишь». Детсад и сегодня (2012) проблема для многих – даже в городе! А тогда да еще в деревне – детсад был не проблемой даже, он был несбыточной мечтой. Только плакаты голосили: «Пусть в каждом колхозе детсад – окружит любовью ребят!» Материальная помощь роженицам? «Чем больше гук, тем меньше жук!» Давали-то всего ничего, копейки какие-то давали...

Знахаря в Куцевщине своего не было, а и был бы он – стоит ли к нему идти? Допустим, знахарь тебе поможет и плод вытравит. А вдруг соседи наступят: «Лёня на сносях ходила, да ведь так и не родила!» В любом слу-

чае – властям станет известно о твоём аборте. И что же маме, в тюрьму садиться? За аборт могли посадить – и роженицу, и лекаря, и даже свидетеля, что знал да не донес! (Постановление «О запрещении аборт» от 27 июня 1936 года)...

Мама подумала, мама додумалась. Как придет за поросенком ухаживать – так и ляжет животом на загородку. И лежит, лежит, лежит там: «Авось дитё выкинется!» Но я, слава Богу, не выкинулась – и появилась на свет 13 мая 1939 года...

Полюбила девка немца...

«Так убей фашиста, чтоб он, / А не ты на земле лежал, / Не в твоём доме чтобы стон, / А в его по мертвым стоял!» Ну да, на фронте все так и было, наши мужики убивали «нямцев». Другое дело в глухом тылу. Многим тогда казалось: немцы пришли навеки! Не всем, конечно, но казалось. Например, так подумала одна «дзвэчына». Было ей 20 лет, никак не больше, когда она влюбилась в немца. Ясное дело, не в офицера, а в рядового. Видно, в глухой деревне, а не в столичном Минске. Не в Куцевщине, нет! Полюбила девка немца, подарила немцу сердце...

Родила она сына в 1943 году и назвала его Адольф – в честь Адольфа Гитлера. А не Иосиф, например, в честь Иосифа Сталина. Всего через год – немцы оставили Белоруссию, а дивчина осталась – с Адольфом на руках! Почему не посадили и не расстреляли за интимные отношения с немецко-фашистским захватчиком? Не помню, не знаю! Чтобы жизнь сыну не поломать – она стала звать его Эдик. Звать же Адольфом – совсем неловко: «Милый мальчик, весь в говне, / Все ему неловко! / Ляг, бедняжка, ко мне / Засраной головкой...»

Книги в суме, туфли в уме!

Встречать победителей торжественно? Ничего мы не слышали о таком приказе! Митинги, речи, подарки? Не было этого! Киносъемка на киноплёнку? Тоже не было. Никакой «святы», праздника то есть, никакого торжества – ни в Куцевщине, ни в Раевке не было. Может быть, потому что не было там чугунки (железной дороги)? А вот в Цимковичи (11 километров на восток) и еще в Дегтяные (10 километров к югу) мы точно ходили встречать эшелоны. Шли целой толпой, множество куцевских, безо всяких указаний от властей. Несли гостинцы – что у кого было. Помню в руках у мамы – целый бидон с молоком. Почему туда шли? Не терпелось увидеть своих мужиков: «Вдруг вони приедут в гэтам эшелоне...»

Правда, на моей памяти – ни одна семья своего мужика на чугунке не встретила. Но гостинцы назад мы не понесли! Отдали тем бойцам, что были в эшелоне, который нам попался. Назад мы пошли с пустыми руками, а через неделю – снова с гостинцами на станцию. Так и ходили почти полгода от Дня Победы (весна 1945-го), до массовой демобилизации (осень 1945-го). Все лето ходили, гостинцы носили...

Фронтовику полагалась посылка? Вот это новость! Пол-литра водки, полкило селедки, полкило конфет, 300 граммов сала? Может, кому-то и полагалось, а только наш батька – пришел без посылки! Правда, мне он привез лакированные туфельки, которые я не успела износить. Ведь по своей хатке мы бегали босиком, а на вулице грязь непролазной была. Нога моя выросла очень быстро, в том же 1945 году, ведь туфли сразу были впрытык. А еще батька мне привез «редикюль» (ридикюль), сумку дамскую, в которую я пыталась затолкать «буквар» (букварь), чтобы бегать в школу: «Книжечки в суме, туфельки в уме...»

«Ты храбро воевал с врагом, войди ж, хозяин, в новый дом!» Батька наш воевал храбро, это святая правда, ведь он ордена и медали имел. Однако новую избу – колхоз нам не возвел! Кто виноват? Может быть, немцы виноваты! Кабы они сожгли нашу прежнюю хатку, тогда колхоз отстроил бы нам новую избу. Почему так думаю? Потому что у Борисовых (ударение на «о») немцы хатку сожгли. И колхоз им выстроил новую избу. Только не сразу, лет через пять, примерно в 1950 году. Отлично помню и сруб, и крышу. Новенькая хатка Борисовых ярко выделялась среди стареньких избушек. Издалека ее видно было! Жаль, что нашу хатку немцы не сожгли? Можно и так сказать...

Тупая скрипучая иголка

Летом 1945-го из Раевки в Куцевщину прибыл фельдшер по фамилии Цвирка. С виду это был настоящий Айболит: волосы и усы – белого цвета. Да еще – белый халат, с завязками на спине, а не на груди. Он все время шмыгал носом: «Ну что же, шмыг-шмыг, детишки, шмыг-шмыг, сейчас, шмыг-шмыг, мы все, шмыг-шмыг, будем, шмыг-шмыг, делать, шмыг-шмыг, прививки!» Тут мы все, перепуганные насмерть этими прививками, побежали прятаться в высокой траве, что росла за огородами. А Цвирка начал нас зазывать и говорить, что, мол, прививка – это не очень больно: «Зато потом – хворать не будете...»

Был бы в Куцевщине хотя бы фельдшерский пункт – знали бы мы о прививках, Цвирку бы не испугались! А так – что с нас взять? Любой из нас был как тот ученый: «Всемирно известный математик / Академик Иванов/ Ничего так не боялся,/ Как больниц и докторов». И вот среди всех нас ока-

зался один смелый человек – это была я. Тупой скрипучей иглой – Цwirка сделал мне укол под лопатку. Может быть, от столбняка? Он попросил еще, чтобы я привела остальных. Пришли не все, но большинство я привела. После визита Цwirки с его прививками я увлеклась медициной! То есть начала «прививать» своих ровесников, используя иголки со сливового дерева. Некоторым детям я расцарапала кожу до крови. Родители «пациентов» начали жаловаться маме, на этом и закончились мои «прививки». Вот она была какая – медицина куцевская...

В самой Куцевщине – ничего не было, даже фельдшерского пункта. В Раевке (прямо против школы, куда я позже пошла учиться) был такой пункт. Это из него в Куцевщину приезжал фельдшер Цwirка. Только в Копыле (наш районный центр) имелась настоящая поликлиника. Не болеешь – хорошо, заболешь – плохо дело! У нас говорили: «У хлопчика – пальчик болит, у матери – сердце щемит». Если нарывает палец – авось Цwirка вскроет. А если что серьезнее, так в Копыль ехать надо. Если, конечно, успеешь...

Вот и не успели с одним хлопчиком. Был он мне ровесник, помнится, болели почки у него. Долго лежал дома, в Копыль не везли его. Может быть, везти было некому? Может быть, коня в колхозе не давали долго? Не знаю! Зато помню, как меня повели, а его повезли в Копыль по зимнему времени. По летнему времени – дорога была дальняя: Куцевщина, Рудное, Цимковичи, Черногубово, Мажа, Копыль. Зимой же напрямки, по лесному зимнику, от Куцевщины до Копыля ехали на санях. Помню, что хлопчик в санях лежал, а я шла пешком рядом с ними – и туда, и назад. Видно, помочь ему там не смогли. Вскоре он умер...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Как у мамы вскрылась вена

«Бей врага, чтобы он обессилел, / Чтобы он захлебнулся в крови, / Чтоб удар твой был равен по силе, / Всей моей материнской любви!» Чтобы немец в крови захлебнулся – такого при мне не было. А вот с нашей мамой однажды вышло нечто похожее. Я своими глазами видела, как у нее вскрылась вена, аж всю стенку кровью обрызгала. Слава Богу, батька наш кровь остановить сумел – ведь он служил медбратом! Это примерно в 1949-м случилось, мне было лет 10 тогда. Помню, что кровь была очень темная, помню, как она брызнула на стенку. А вот что перед этим было – не помню. Кажется мне так: оба они были на кровати. «Хоть лежали тихо, а проснулось лихо...»

Мама была с краю, и брызги через батьку – на стенку полетели. Батька наш быстренько соскочил с кровати, взял то ли простыню, то ли поло-

тенце, и наложил жгут. Нет, не на само отверстие, а чуть выше, пережал он вену правильно! Так как кровь сразу же остановилась, я же все видела своими глазами. А Зина, Лена, Коля видели или нет – этого я не помню. Видимо, дело было вечером, спать уже ложились. Помню, что лампа горела керосиновая. Ох, слава Богу, что батька справился! Вена – хотя и не артерия, но напор крови в ней – бешеный может быть. Если не смерть, то большая слабость могла быть у мамы. Кровопотеря, как при ранении...

Батьки нашего кровь все мы видели часто, ведь он же брился опасной бритвой. Там не порежешься – так не побреешься! Помню, как батька об ремень эту бритву точил. Зеркальце помню у него круглое, видно – походное было оно, с войны еще. Зеркало побольше – оно тоже в хатке имелось. Это было толстое стекло со слоем краски-серебрянки. Только вставить в рамку его было некому. Таскали мы его туда-сюда, покуда не разбили. А после еще долго – осколки его использовали. К примеру, мы играли в «дом», таская на двор осколки...

Шесть дней в неделю без молока

Мама, как могла, всех нас оберегала не только в войну, но и после нее. Она всегда старалась накормить нас. На «снеланне» (завтрак) мама обычно вертела «затирку» (похлебку), если была мука в нашей хатке. А была мука – не всякий день! Затирка – это кипяченая вода, заправленная комочками пресного теста. Если же было молоко, то затирку мама еще и забеливала. Молоко, что мука, не всякий день у нас было! Кроме госпоставок на мясо, были еще и госпоставки на молоко. Помнится, в течение года 2 тысячи 500 литров надо было сдать в колхоз. Это примерно 50 литров в неделю. Нет, 3 ведра молока в 1 день – коровка наша не давала! Всего 1 ведро, не больше, это 10 литров или меньше. И 5 дней, и 6 дней в неделю – молока мы не видали...

«Без нужды век живет – тот, кто хлеб бережет!» Не знаю я, что это значит. Мы отродясь хлеб берегли – когда он был, конечно. И отродясь мы жили в нужде! У нас говорили: «Чалавек есць хлеб траякі: белы, чорны і ніякі» (Человек ест хлеб тройной: белый, черный, никакой). Как раз «никий» хлеб – мы ели чаще всего...

Случалось, мама готовила драники и гопу – из тертой сырой картошки, комяки – из толченой вареной картошки. На праздник мама готовила мочанку (ударение на «о»). Это обжаренные кусочки мяса или косточки в бульоне из муки с луком. Если только этим часом – в нашей хатке было мясо! Еще мочанку готовили из сушеных грибов. Ранней весной, едва появлялся щавель, мама варила суп из него. Безо всякой «картопли», очень кислый

был он. Картошки-то старой к этому времени уже не было (всю съели), а новая еще не выросла. Зимой из квашеной капусты и тоже без картошки (чтоб ее поберечь) варили суп. Он так и звался: «капуста»...

Молока досыта я напилась когда? Только в Южно-Уральске, наверно. То есть в 1962 году. Ну да, в Кичигино (1956-1962) жилось сытнее, чем в Куцевщине (1939-1956). Хлеба я наелась досыта, но корову мы не держали...

Стакан в руке, губа в крови

«Хороши мои красавицы – всем на выставке понравятся!» Да, колхозные коровы могли выглядеть красиво. Советская власть, жалея коров, людей не жалела. Что это значит? Что мы, колхозники, говядинкой не баловались. Оттого и мясорубку – отродясь не видели! Не только у нас в хатке – во всей Куцевщине ее не бывало. Не только мясорубки – ничего похожего не знали у нас. Например, не помню я даже сечку с корытом. В нем же тоже – фаршу можно нарубить. Ни мяса, ни теста никогда не бывало так много, чтобы пельменей настряпать. Тем более – впрок их наделать. Даже слово такое – «пельмени» – в Куцевщине никто не слышал. Только в 1976 году, приехав к тетке Наде в гости – мы с мужем рассказали ей о пельменях и показали, как их готовить...

«До того изловчился, что стал даже в пригоршне суп варить». Такого не случилось, но почти вся посуда – была самодельная...

Обрезал верх у стеклянной бутылки – получил стакан с острыми краями. Как это делалось? Сначала нагрел бутылку на костре, на медленном огне. Видимо, каким-то стеклорезом сделал царапину. И води по этой царапине чем-то острым, типа какой-то пилочки. Вдвоем надо водить, так выйдет удобнее, положив бутылку горизонтально, словно бревно. Водим и водим, пока горлышко (оно не нужно) не отвалится от стакана (нам нужен он). Да, края были острые! Из стакана пригубил – губу себе раскровил. Кажется, позднее – мы научились эти края шлифовать. Других стаканов я не помню в Куцевщине...

Куды гэта дурныца сховалась?

Похоже, батька наш никак забыть не мог, что мама и бабушка были из зажиточной семьи! А он-то сам – из голодранцев вышел. С того и грубил – на трезвую голову, а по пьяному делу – батька мог даже драться! «Так нечего с пьянкой шутить, ее надо бить, колотить!» В нашей хатке было все наоборот. Пьяного батьку никто не бил! Напротив, это он спьяна становился очень злым и агрессивным. Про таких говорили: «До свары – ты

скорый, до працы – ты хворый...» (Не люблю трудиться, а люблю браниться...)

Тогда мама прятала все наши вилки и нож единственный – подальше от батьки. А если мамы не было в хатке, то прятал их кто-то из старших. Куда спрятать? Нож и вилки мы совали в песок, который был насыпан в наших сенках. А сама мама хоронилась где-нибудь по соседям, чаще всего у дядьки Антося. Но даже мы не всегда знали: где наша мама на этот раз? Батька же вечно у нас допытывался: «Куды гэта дурныца сховалась?» Однажды батька даже в колодце маму искал. А нас, всех 4 детей, заставил стоять рядом – ждать, пока она не найдется. В другой раз Лена, моя сестра, заслонила маму от летящей тыквы, что швырнул наш батька. Тыква так стукнула Лену в темя, что потом у нее были головные боли. Тыквой об голову – жилось нам здорово...

А вообще-то в нашей хатке – посуды не было почти. Чугунков было два не то три, а ложек – строго по числу едоков, ровно 6 штук. Четверка детей да пара родителей, а для бабушки Прузыны – вовсе ложку не держали. Наш батька ее за стол не пускал! Мисок и тарелок – точно было меньше, чем нас, едоков. Вилки у нас появились поздно (после 1953 года), а нож был 1 на 7 человек...

Батька, яма, Ваня

Ваня – брат мамы и мой дядя, отродясь он был больной. Сроду его помню так – на печи сидит, за трубой хоронится, иногда оттуда высовывается. Не помню ни разу Ваню за столом! Может быть, ему на печку подавала еду мама? Не помню я Ваню – до ветру бегущим. И не носили его до ветру, я точно помню. Видимо, по нужде он ходил прямо в хатке – в какую-нибудь посудину. А затем ее выносили вон. Так вот, однажды батька куда-то повез Ваню. Быть может, лечиться – повез до больницы? Или же показаться – повез до военкомату? Этого не знаю...

«На каждом шагу – не давать передышки врагу!» Именно так батька относился к маминной родне. И к дяде моему, и к бабушке моей. Не давал им покоя, и кормить не велел. Почему? Может быть, потому что сам был «голодрабец» (бедняк), а их считал «мироедами» (кулакам). У нас говорили: «Лепша радня – свая раўня» (Бедняки да кулаки – им родниться не с руки). Почему же тогда – Ваню батьке доверили? Быть может, некому было поехать? Или же никому, кроме нашего батьки (он конюх был), не дали бы коня в колхозе? Но вот батька очутился один на один с Ваней – и решил его угробить...

Была там какая-то уборная – в поле не то в лесу. Короче – в безлюдном месте! Прямо в яму с нечистотами – батька думал столкнуть Ваню. Расчет простой – Ваня ж языком почти не владел. Значит, на помощь позвать не сможет! А место безлюдное, нечаянно Ваню найти там некому. Так бы

Ване там и сгинуть, случись все это зимой. Замерз бы насмерть! Слава Богу, дело было летом. То ли батьку кто-то видел? Видел, что зашли двое, а вышел один из уборной. То ли Ваня кричать начал? И его услышали. А только батька Ваню – уробить не сумел! Так мне мама рассказала...

Кормим бабушку втроем

Зимой в нашей хатке всегда было холодно, а летом – очень сыро. Крыша-то из соломы была, а пол – земляной. Кроме кровати, полка, печи – были в нашей хатке полки самодельные. Вдоль той стены, где дверь входная. Много было полок – от пола до потолка? Нет, было всего 2 полки, куда наш батька ховал свои гостинцы. За то, что он изготавливал и ремонтировал обувь, соседи ему давали творог, сыр, масло. Батька наш эти припасы складывал на эти полки. И все-все-все съедал он сам, а нам не давал нисколько. И мама наша не разрешала брать его продукты. Мы никогда их не трогали, хотя обе эти полки висели совсем низко. Там даже я, самая младшая, могла дотянуться рукой...

Батька наш работал конюхом в колхозе, приходил домой так поздно, что мы уже спали. Говорил он с мамой всегда грубо, обзывал ее прозвищами всякими. Я помню все до одного, но не хочу их повторять. И очень батька не любил бабулю – мамину маму. «Вон дармоедов с тепленьких мест, кто не работает – тот не ест!» Вот батька и считал бабулю дармоедкой. И кормили мы ее – когда батьки в хатке не было, кормили всегда втроем. Один стоял на улице, подавая сигналы другому. Тот стоял во дворе, а уж третий кормил бабулю. Картоплей, конечно, а чем же еще...

«Пекут бульбу, бульбу варят, / Едят бульбу, бульбу хвалят! / С бульбы – клёцки, с бульбы – каша, / Пропади ты, доля наша!» Так вот, 3-й (он кормил бабулю), все время прислушивался к тому, что скажут 1-й и 2-й. И вот они кричат: «Бацька идзе!» (Отец идет!) Кормежка враз кончается, все трое разбегаются. Одним словом: не любили мы его, мы боялись батьку...

Кто постучится – войти боится!

Однажды у нашей курицы, сидевшей на яйцах, вылупились не все цыплята – двое так и не вылупились. Посмотрев и послушав эти яйца, мама наша различила слабое тивканье. Она принесла яйца в хатку и положила их в теплом месте. Уже дня через два или три – у нас появились цыплятки. Когда они подросли, нам стало ясно, что это курочка и петушок. Они росли с нами вместе, шустро бегали по всей хатке. А мы играли с ними как с живыми игрушками. Все остальные куры тем временем жили в хлеву...

Петушок вскоре стал очень драчливым. Он все время норовил кого-нибудь долбануть своим клювом. «Пламенно, гневно, долбить ежедневно!» Из четверых детей он особенно невзлюбил Лену. Часто вскакивал ей на голову и оттуда клевался, целя прямо в зрачки. Того и гляди, Лена без глаза останется! Или сразу – без двух глаз, не дай Бог...

У нас говорили: «Дзе е госць, там і бог ёсць». (Гость в дом – Бог в дом). Но петушок считал иначе! Если к нам в хатку входит чужой, наш петушок его выгоняет. Клюет по ногам, гонит за порог. Маме нашей надоели проделки петуха, и она решила его продать. Хотя мне его было очень жалко! Мама отнесла петуха на базар, а на часть вырученных денег – купила мне конфету длинную. Но все равно без петушка я скучала долго. И еще долго никто не верил, что мы продали петуха. Кто постучится – войти боится! Спрашивает прямо с порога: «А где же ваш певень?..»

Тридцать девять недель безо всякого мяса

«Не да парасят, калі свінню смаляць». (Если мать убили – про детей забыли). Наш батька не убивал нашу маму, конечно, но и не любил ее никогда. А вот детей, меня, к примеру, наш батька мог побаловать. Например, если брался резать нашего «дѣдку» (кабана). Вот этот вот звук, когда его колют, когда он визжит – я не могла переносить. И в огород убегала, чтобы не слышать его! Всегда батьку просила: «Пока я не убегу – не делайте ничего!» Мне жалко было «дѣдку», мы же с ним играли как с живой игрушкой, а тут раз – и его режут. Да, батька меня слушал – не начинал резать, пока я не убегу. Далеко-далеко я всегда убегала, потом вернусь – «дѣдку» уже разделявают. Сначала осмолят – чтобы всю щетину выжечь, затем обольют водой из колодца. После разрезают брюхо от шеи до паха. Все внутренности вытаскивают, чтоб засолить и сало, и мясо. Батька все делал сам: «Не жди, чтоб добрый дядя/ Все сделал за тебя!/ Умей с работой ладить,/ Различный труд любя...»

И батька всегда меня угощал. Ухо отрежет, осмолит его, скажет мне: «Оля, на!» Может быть, это обычай такой – ухо младшему отдать? Грызла я ухо прямо там же, только хрящики свиные на моих зубах похрустывали. Не помню я, куда девался ливер: печень и легкие? Весь он уходил на гос. поставку по мясу? Может быть! Вот из крови – пекли блины, это я помню. Муку мешали с водой и кровью, если была сода – ее тоже клали. И муки пошло мало, и крови не пропало! Да, и блины эти были очень вкусные, почти как колбаса кровяная. Как ее делали? Ну, муки ложка, кровь, кишки, если была гречка – ее тоже клали...

Долго сказка сказывается, да недолго дело делается! На Покров (14 октября) заколем «дѣдку», к Рождеству (7 января) уже съедим. То ли кабан-

чик наш был невелик? То ли ртов у нас было слишком много? Всего 13 недель – и кончилась свинина. Стало быть, еще 39 недель – безо всякого мяса! Вот если у кого-то – кабанчик был покрупней, а едоков – поменьше, там свинины могло хватить до Пасхи. На 26 недель, стало быть. А потом 26 недель – безо всякого мяса...

Однажды ночью к нам постучали...

У нас во дворе росли посаженные еще до нас и нами самими деревья: сливы-скороспелки, «ссыкухи» и «венгерки». Их плоды имели специфическую структуру. Мякоть как будто суховатая, а цвет – оранжево-фиолетовый. Очень вкусные были, и у них косточка легко вылуцивалась из мякоти. И было три яблони – аппорты. Еще был куст жасмина, розового цвета розы у нас росли, сирень и рябинка была – высокая и стройная. Это деревце мы, мелюзга, выкопали руками в лесу безо всяких лопат. Принесли на двор, и рябинка прижилась. А на меже с Гэлечкой вырос чернослив, который принадлежал неизвестно кому. Мы его рвали со своей стороны, а Гэлечка рвала со своей...

Эта та самая соседка, что донесла про форменку! «Чорт чорта пазнаў, на піва пазваў». (Черт черта узнал, на пиво позвал). Бдительная гражданка сообщила о форменке в бдительные органы. Откуда форменка взялась у нас? Не знаю! Может быть, батька принес ее еще с финской войны? Он же был очень непредсказуемый. Чья угодно могла быть эта форменка! Батька же служил по медицинской части. Может быть – форменку он снял с убитого? Глянул – ничего, и прибрал к рукам. Помню, что форменка эта была защитного цвета. И вот мама решила ее закопать. А Гэлечка узнала об этом. Откуда узнала? Она щель прорезала в стене нашей хатки. Дырка была шириной в мизинец взрослого человека. Гэлечка, припав к дырке, следила за нашими сенками. Нет, дырка не могла возникнуть сама собой! Видно было, что ее прорезали – и не очень неаккуратно. Так вот, когда в Куцевщину пришли немцы, мама эту форменку решила закопать. Разгребла земляной пол в сенках, выкопала яму, засунула форменку: галифе и гимнастерку. Гэлечка все это подсмотрела. Закидав землей форменку, мама разровняла пол. А Гэлечка была рада – доложить, кому надо...

«Днем фашист сказал крестьянам –/ Шапку с головы долой!/ Ночью отдал партизанам –/ Каску вместе с головой!» По ночам не только немцам было страшно. Однажды ночью к нам пришли: «Отдавай, Лёня, форменку!» Партизаны заявили. Ночью, да-да, ночью, а не днем – ведь немцы уже были в Куцевщине. Пришли двое или даже трое, одетые в такую же форменку, какую искали...

А дальше як жить?

«День прогулял? Урожай потерял!» Мама день и ночь трудилась, не прогуливая вовсе. На сенокосе, на льне, на молотилке, на нормах по жнивью. Это все колхозные работы. То есть косить и жать мама умела и пахать тоже могла. Другое дело, что работа в колхозе почти не оставляла времени для своего огорода...

Что дома мама сеяла? Пшеницу, рожь, больше всего места занимала картошка, она же – бульба. После картошки – зерновые, «жыта» (рожь) чаще всего сеяли. Почему жито? Наверное, оно самое практичное как зерновая культура. И еще жито созревает раньше пшеницы. Раньше высевашь – раньше пожинаешь. Что росло в огороде? Горох, бобы, фасоль, огурцы, свекла, брюква, капуста. Вроде бы много? Это названий много, а грядки-то были маленькие. Любая грядка – один метр на полтора метра, никак не больше. Сначала земли у всех было много, было по 40 соток примерно. А потом колхоз начал урезать наши огороды – это после войны уже. В первую очередь урезали тем, кому выделяли новые участки. Старые огороды не трогали, например, огород нашей бабушки не урезали. Помню, только у Адольщиковых был большой огород, а у Рахелевых – маленький, и у Цыбулевых – тоже маленький. У нас было 40 соток – если считать оба участка, наш и бабулин. Не так уж много...

Вот так питались, вот так мы жили: «Ну, як вы живете?» «Да кидаемся, як горох при дороге!» «То есть как?» «Горох вырос при дороге – его топчут день и ночь!» «Ну?» «А он все равно – растет во все стороны!» «А дальше як жить?» «А як набезить...»

Солдат советский, снаряд немецкий

Во время игры в «килу» (ударение на «у») мы вырезали комки земли, в которых нередко находили патроны. В костер бросать? Может быть, бросали, только не при мне! Однажды мы выкопали несколько патронов сразу. Один, другой, третий – в общем, добрый десяток. Откуда они взялись? Разгадку мы узнали позднее. Против нашей хатки – прямо через вулицу – была хатка бабули и ее двор. То ли продали эту хатку позже, то ли еще куда-то пристроили, а только не стало ее там. Точно помню, хатка бабули – всю войну простояла! Ее не спалили солдаты немецкие, ее не разбили снаряды советские. Каким-то мирным путем ее не стало! Всю войну бабуля Прузына – жила у нас, уже после войны – мы ее схоронили...

Летом 1944-го бабулина хатка все еще стояла на своем месте. Перед ней имелась лавка, где однажды сидел солдатик советский. Лицом – к на-

шей хатке, спиной – к хатке бабиной. Были при нем патроны, и винтовка могла быть. Вдруг грянул разрыв – не то снаряд, не то бомба? Не знаю точно. Но рвануло-то в воздухе, а не на земле! Это именно так, ведь не возникло ни единой воронки. Ни на бабином огороде, ни на вулице, ни у нас на огороде. А солдата, беднягу, не просто убило на месте. Его так разорвало – хоронить было нечего! Только пепел и дым от него остались: «Бей врага раскаленным металлом,/ Обращай его в пепел и дым,/ Чтобы с гордостью я восклицала:/ «Это сделано сыном моим!» Что с его винтовкой сделалось – я не знаю. А вот его патроны – лишь землей чуть-чуть присыпало. Их-то мы и нашли, все пули были на месте, не пальнула ни одна...

«Бада адна не ходзіць – другую за сабой водзіць». (Беда одна не ходит, другую следом водит.) Тот же самый взрыв – вышиб наши окна, что смотрели на улицу, два окна из четырех. Окна были в одну раму, небольшого размера и невысоко от пола. Это их спасло при взрыве – стекла не разбились, рамы не сломались – когда упали на земляной пол в нашей хатке. Стекла просто целиком – вывалились на пол. Будь он деревянный – стекла бы побились! Ну, что маме делать? Надо звать стекольщика и готовить гроши – а где же взять их? Сделали иначе – мы с мамой в 4 руки обе-две рамы в проемы вставили, и стекла тоже – вернули на место. В тот же самый день...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Человека зарезали!

«Свята» значит «праздник». Среди всех советских – самым большим праздником был День Победы – 9 мая. Главными церковными «святами» были Пасха и Рождество. И был еще один праздник, сугубо наш, деревенский – 7 июля. И назывался он немецким словом «фэст», точнее: «Фэст Яна». На нем мы, мелюзга, учились танцевать. Вообще танцы могли быть и в воскресенье, и в будний день, стоило появиться гармонисту. Идешь на танцы – плати за вход. 1 входной билет? 2 куриных яйца! «Курыца» была домашней птицей для бедных, а богатые держали «гуску»...

7 июля – день был нерабочим, с раннего утра начинали съезжаться гости. Хозяйки готовили закуску: каўбаса (колбаса), кумпяк (окорок), піроги (куличи). За мужиками была «гарэлка» (самогонка). У нас говорили: «Хотя заплатками трясет, а на горелку – грош найдет!» Именно самогонка, только она запомнилась, никакого вина в Куцевщине не пили. Это песня не про нас: «Выше стаканы с вином, выпьем и снова нальем...»

На Фэст Яна колхоз выделял деньги, и к нам приезжал духовой оркестр,

что играл часов 10 подряд (14.00 – 24.00). Наплясавшись до упаду, молодежь по хаткам расходилась пораньше. Среди молодежи драчунов было поменьше. Другое дело – взрослые мужики! Почти что каждый Фэст заканчивался побоищем. Подраться норовили все – и свои, и гости, приехавшие из других деревень. В ход шел штакетник с забора, и даже ножи мелькали. Одного человека на моей памяти – зарезали буквально насмерть. Вот таким был наш Фэст: праздник, самогон, драка. Пили все мужики до единого. Пьющих – в шею гнать? Где непьющих взять...

Что означает СССР

В Куцевщине было всего 3 улицы, они сроду не имели никаких названий. И было примерно 60 хаток, никаких номеров отродясь они не имели. При взгляде сверху – хатки складывались в букву «Н», только ее «перекладина» была очень длинной, а «стояки» – очень короткими. «Перекладина» у нас называлась «вулица» (улица), а «стояки» звались «застенки» (переулки). В общем, наша Куцевщина была так мала, что мы все могли собраться на один киносеанс! То же самое – выборы, на избирательный участок – все Куцевские могли явиться сразу: «За светлую жизнь, за радостный труд – они голоса свои подадут...»

И почти всех я помню: кого по имени, кого по прозвищу, иных и так, и так. Мы-то сами по фамилии – были Кныш, а по прозвищу – звались Халимончиковы. Дальше остальные – наши куцевские! Говорю по алфавиту, чтобы не сбиваться: Адольщиковы, Александра, Байкаши, Барановы, Баутаравы, Ганины, Гэлячка, Даниловы, Дорофеевы, Ждановичи, Ильюковы, Исаковы, Кузьмовы, Маланковы, Мамчины, Марковы, Марылька, Мироновы, Миросевы, Мотынька, Паулина, Примачковы, Раманиха, Рахелевы, Романчиковы, Семеновы, Цыбулевы, Чыновниковы, Юрчиковы, Яковчиковы. Да простят меня те, кого я забыла...

И был еще один старик, не помню его имени. Большой мастак на шутки, загадки, байки. Например? Жили-были две еврейки – мамка с дочкой. Однажды дочка проголодалась: «Я кушать хочу!» «Так нет ничего». «Дай коки (картошки) хотя бы!» Мамка сварила бульбу в мундире. Слила горячую воду, поставила чугунок на стол, чтоб охолонул немного. И тогда в картошку забралась лягушка. Погреться, видно, захотела! Тут дочка тоже – в чугунок сунулась: «Ой, мама!» «Чего там?» «У коки – цвай оки, фир лапки». (У нашей картошки – 2 глаза, 4 ножки). Дочка схватила лягушку, чтобы сунуть себе в рот. Та начала отчаянно квакать. А девочка ей: «Пищи не пищи – мне мама дала!» Не думаю, что среди нас была вражда к евреям. Какая вражда могла быть к тому, кого мы в глаза не видели...

А вот загадка, слышанная от того же старика – гораздо позже 1953 года: «СССР – что означает?» «Союз Советских Социалистических Республик!» «А вот и нет!» «Что же тогда?» «А вот что: Смерть Сталина Спасет Россию...»

52 дня или 52 недели?

По закону тогдашнему, трудовой обязанности подлежали все куцевские, начиная с 12 лет. Даже подростки должны были ежегодно отработать 52 трудодня в колхозе. Таков был годовой минимум. Кажется, что мало? Я не все сказала! Если робишь с конем (как батька наш), за 1 рабочий день тебе поставят 1 трудодень. А вот если без коня (словно мама наша), тебе зачтут всего 20 % трудодня. Да-да-да, чтобы вышел 1 полный трудодень – отработать надо 5 календарных дней. Панядзела, аўторак, сярада, чацвер, пятніца. Всего 52 трудодня – легко превращаются в целых 52 рабочих недели! По пяти дней каждая – это по меньшей мере. То есть в сплошной рабочий год, безо всяких отгулов и отпусков. А рабочий день в колхозе – это весь световой день, и не только день: «В пору рабочую – пашут и ночью...»

Колхозы сперва (в 1940-х) еще маленькие были, это потом (в 1950-х) колхозы стали укрупнять. По первости в нашей Куцевщине был свой колхоз, в Раёвке – тоже свой, а потом их объединили. Мне кажется, жилось нам лучше – когда они маленькие были. Проще было достучаться до начальства. Допустим, заболел кто-нибудь! Надо идти или везти его в здравпункт или в медпункт. Ни того, ни другого в Куцевщине не было. Надо бежать в Раевку, там просить председателя, чтобы тебя отпустил. Туда 4 километра, назад 4 километра – больше часа пробегаешь. Да, отпроситься было можно! Но прежде-то – отпрашивались тут же, у своего бригадира. А теперь до начальства дойти стало труднее: «Высокія парогі не на нашыя ногі» (Покуда травка подрастет, лошадка с голоду помрет)...

Судить тебя будут...

«Сегодня пьян, и завтра пьян, а в результате сорван план!» Мама наша не пила никогда! Однако план по молоку – однажды пострадал серьезно. Как это вышло? 2 тысячи 500 литров «малака» надо было ежегодно сдать государству. Возчик Павляв принимал по качеству и количеству молоко, которое сдавала ему вся Куцевщина. Все, что было принято, он увозил в Раевку на молокозавод. Там вели учет молока и проверяли его жирность. Что же выходит? Принимали молоко в одном месте (Куцевщина), а жирность проверяли в другом месте (Раевка)...

Помнится, дело было весной. Быть может, что-то случилось с нашей

коровкой – у нее вдруг упала жирность молока. А может быть – дело в другом? Помню, как мы с мамой принесли ведро молока, и этот Павляв его принял без вопросов. На другой день он пришел к нам: «В Раевке пробу сняли с молока – лактометр туда засунули!» Мама в ответ: «И что там?» «А там жирность вдвое меньше, чем трэба!» «Как же так?» «У тебя, Лёня, трэба спросить: як же так!» «Что ж теперь?» «Не трэба, Лёня, лить воду в молоко!» «Да не лила я». «Кто ж тебе поверит! Я уже сообщил куда надо. Теперь жди повестку, судить тебе будут...» Почему у нашей коровки в 2 раза упала жирность? Ей-Богу, не знаю! Мог ли Павляв воды долить в наше молоко? Наверное, мог! У него же были сутки – сегодня принял молоко в Куцевщине, и только завтра отвез его в Раевку...

«З багатым не варта судзіцца, а з дужым – біцца». (С богатым не стоит судиться, а с сильным – биться.) Не биться, не судиться мама и не думала. Нам она клялась Христом-Богом: «Что я, дурная, что ли? Я же знаю, что это дело серьезное. Это дело судом пахнет!» Но механизм уже запустили, он начал работать, через несколько дней нам принесли повестку: «Явиться в Копыль!» Это было летом 1948 или 1949 года. Батяка наш, будучи конюхом, сумел выпросить у председателя лошадь. Он запряг ее, сели батяка, я и мама. Пока батяка запрягал – соседей сошлось много: «Лёня Халимончикова на суд поехала! Если засудят – что с детьми будет?» Я всю дорогу думала: «Если засудят маму – как же я буду без нее?..»

Приговор для мамы

«За честный труд награда ждет: достаток, слава и почет!» Мама всегда трудилась честно, а вот поди ж ты – под суд попала! Приехали мы в Копыль. До сих пор помню высокий забор – зеленого, солдатского, защитного цвета. За ним виднелось 1-этажное здание. Мы подъехали к забору, батяка привязал лошадь под деревом, чтобы не жарко ей было стоять. Я одна осталась на подводе, хотя сначала мы пошли к дверям втроем. Но меня-то за порог не пустили, было-то мне 10 лет, если не меньше. Помню, что в этом здании – и пол, и стены были того же защитного цвета – зеленого, солдатского...

Ну все, батяка и мама туда зашли, а я осталась считать минуты. Или часы? Очень уж долго время тянулось. Смотрю на эту дверь и думаю: «Хоть бы вместе они вышли, мама с батякой, хоть бы не по одному!» Если бы маму засудили, ее бы сразу взяли под стражу. И тогда батяка вышел бы один из этой самой двери. Дверь я тоже помню до сих пор: 1-створчатая, все того же защитного цвета. Должно быть, табличка на двери висела, но ее я не помню. Кстати, на этом суде – свидетелей не было, должно быть.

Ведь никаких подвод, кроме нашей, у забора я не видела. Я была уверена, что мама не виновна, но мало ли что мог напести Павляв? У нас так говорили: «Ему скажут – на ноготь, он добавит – на локоть». Я сидела и молилась: «Дай Бог, чтобы они вместе вышли! Что же я буду делать, как же я буду жить, если маму засудят? Дай Бог, чтобы вместе! Как мы все будем без миленькой мамы? Дай Бог, вместе! Как мы с бабушкой будем жить?» Нет, я не планировала по пунктам – что я буду делать, я просто переживала, нервничала, пугалась...

Наконец, дверь открылась и вышли они оба, и я так обрадовалась, что аж заплакала! Слава Богу, маму признали невиновной. Кажется, даже штрафа никакого не присудили. Это уже в пути назад я услышала. Мама меня обнимет, бабка коня погоняет. До хатки едем – и слава Богу! Почему все обошлось? Может быть, тот, кто хотел посадить маму – сфабриковал все это, а грамотности-то юридической не имел. Ну а судья-то все равно имеет юридическое образование! Если вины за мамой нет – даже штраф брать не за что, не говоря про тюрьму...

Люди голодные, а кони сытые

Это было 1-этажное деревянное длинное строение. Стояло оно в конце одного из двух наших «застенок», аккуратно напротив кладбища. Было 2 входа с 2 сторон, чтобы уборку облегчить. Верно, кони – не свиньи, с них погадки – поменьше, но все равно – уборки было немало! В конюшне робил бабка – в отличие от мамы, что трудилась нынче здесь, а завтра там. И день рабочий на конюшне был покороче, чем во поле! То есть местечко было теплое, можно сказать «блатное». Как же туда пролез наш бабка? Почему наша мама туда не проникла? Может быть, потому он пролез, что умел чинить обувь? Значит, упряжь и сбрую – починить тоже мог, а мама этого не умела. Именно на конюшне (1945) бабка наш меня на коня подсаживал...

Как выглядел трудовой день на конюшне? С утра часть лошадей отправляли работать. К примеру, конюх (бабка) передавал коня колхознику (возчику), чтобы тот доставил молоко на сборный пункт. Остальных коней выгоняли пастись! Чем больше съедят подножной травы, тем меньше корму придется заготовливать. Всего коней было 20 или 25, никак не больше. И выходило так: 10 трудятся, 15 пасутся. В общем, люди в любой день трудились в полном составе, а кони в любой день – трудились не в полном составе! Советская власть, жалея коней, людей не жалела...

«В бой за Родину! В бой за Сталина! За него сумеем постоять! Кони сытые бьют копытами. По руке нам шапки руют!» Это точно, колхозные

кони – всегда были сыты, чего не скажешь о нас, колхозных детях: «Ты обедал?» «Я обедал!» «А как ты обедал?» «А вот так: я хоть обедал – живот не ведал!» Пока кони пасутся, за ними ходит пастух – чаще пешком, чем верхом я его помню. И вместо кнута при нем была «пуга» (от слова «пугать»). Палка такая со шнурком не то ремешком – он ею хлопнет, звук летит далеко. Видно, этим хлопаньем – он погонял коней. Погонял то и дело, но чтобы он бил их – ни разу не помню! Кони паслись не только днем, бывало – в ночное их выгоняли. Все с той же целью – они съедят побольше, так нам потеть поменьше. Помню, в ночное ходил и наш Коля. И еды ему с собой – не давали никакой...

Что сварили – тут же съели, было так заведено. За ночное, где был Коля – маме «палочку» в трудодень вносили. Или полпалочки, или четверть – не помню! Но только не полный день. Заготовка корма – это сенокос, а еще отаву косили (поросль на месте убранного урожая). До снега отава успевала высоко подняться. Зимой же коней – тоже использовали, а подножного корма зимой не бывает! Впрок не заготовишь – кони передохнут, они передохнут – начальство начнет искать виноватых. Надо же кого-то посадить за это! Кони часто умирали от чесотки, помню их трупы на скотомогильнике. Но не помню, чтобы наши 20 или 25 голов заметно сократились в количестве. Вроде бы, сколько их было раньше (1945), столько же и осталось позже (1956)...

Да, люди были голодны, а кони были сытыми! Однако люди никогда не уклонялись от работы, а вот кони иногда норовили уклониться. «Волька норовиста» – так у нас прозвали одну молодую кобылку. Наш Коля меня дразнил этой кличкой: «Ну что, Волька норовиста, опять побежишь под липками плакать?» В жеребятках эта кобылка от прочих не отличалась, а стали ее к хомуту приучать – тут она заартачилась. К себе не подпускает, на дыбы встанет и ржет очень громко. Заманят-таки ее в хомут (силою не то хитростью), а она не унимается. Игогочет недовольно и копытом стукнуть может. Или встанет на месте – и ни шагу вперед. Тогда ее бьют! Может на дыбы подниматься – опять нет движения вперед. Снова ее бьют! А еще может – так резко повернуть, будучи в хомуте, что телега опрокинется. Бьют еще большей...

Целый год и два мешка

Какой в колхозе годовой график? Да никого вообще! Каждый день роби, выходных нема. Ни отгулов, ни отпусков. Рабочий день в колхозе – весь световой день. От раннего утра до позднего вечера. И ходу до работы – всегда было немало. А место все время менялось: та же самая сеножать – то она в одном конце, а то – совсем в другом краю. В этом году здесь жито

жали, а через год – посадили тут картоплю. Колхоз – это не завод, что стоит на одном месте. Отгул, отпуск, отдых? У нас говорили: «Мы будем пахать, а ты заседать? Не выйдет! Уже посидели на этой неделе...»

Картошка и овощи, солома и молоко? Ну и ну! Деньги? Вот еще! Никогда за трудодни ни копейки не давали. Не про нас эти строки: «Лучший друг крестьянской массы – сберегательные кассы!» Нечего нам было хранить в этой кассе. Может быть, деньги нам полагались, только они к нам не попадали? Так как госзаймы происходили снова и снова. Допустим, батька с мамой заработали 20 рублей за 1 месяц. Затем всю эту сумму (до единой копейки) колхоз отнял у них – в зачет очередного госзайма...

За работу в колхозе лишь зерно нам давали – и ничего больше! 200 граммов за 1 трудодень, хоть жито, хоть пшеница. Вот и считай! Батька и мама – 104 трудодня за 1 год выработали (52 – батька, 52 – мама). Это ж меньше, чем 21 килограмм! Так оно и вышло – в 2 мешка весь хлеб поместился, что выдали за 365 рабочих дней. Целый год спину гнули – два мешка нам швырнули. Так помнится мне. А может быть, имела место хроническая задолженность? Как сейчас (2012) в коммерции, например, бывает. Фирма тебе должна за месяц 27 тысяч, а в кассе тебе дают 7 тысяч. Просишь остальные, тебе отвечают: «Ты же с голоду не пухнешь? Вот и подожди немного...»

Откуда нам законы знать?

Все дни в году были рабочие, 6 дней в неделю точно – это вне страды летней, а во время страды – 7 из 7! И указ 1942-го (невыворотка минимума трудодней) – в Куцевщине просто не к кому было применять. Не было среди нас таких, кто не робил бы в колхозе каждый день! «Трудись с упорством боевым, чтоб стал колхоз передовым». Так мы и трудились, а как же иначе? Выбора у нас не было! И указ 1940-го (самовольный уход с предприятия) – тоже не про нас был писан. Самовольно из колхоза не уйдешь, только вербовка была возможна – на государственное предприятие. И закон 1938-го (неимение трудовых книжек) не был нашей заботой. Колхозники сроду трудовых книжек не имели, даже в глаза их не видели, в отличие от рабочих. И вообще – какие законы, если в Куцевщине ни газет, ни радио не слушали...

Я вот закончила 10 классов, то есть училась до 17 лет – не с того, чтоб «уйти от учета» как трудообязанная, просто мне учиться нравилось. «Учись смолоду – под старость не будешь знать голоду». Можно сказать и так! А можно вот как: «Дольше будешь учиться, позже начнешь трудиться». Уж лучше в школе да под крышей, чем во поле да в холоде...

После выполнения всех зерновых норм нас, мелюзгу, посылали соби-

рать колоски на тех же участках. Подбирали колоски все дети – и дошколята, и школьники. Их надо было собрать, но домой не уносить, а сдать колхозу. Тех, кто не хотел возиться (мол, с поля все собрано, подбирать нечего!) подозревали в воровстве и пугали тюрьмой. А тюрьма – это жаж (страх)...

Скотину – жалко, людей – нисколько

Нам все время хотелось есть. А хлеб появлялся на столе редко. «Посеем в пору – соберем зерна гору!» Сеяли-то мы, колхозники, в пору, то есть вовремя. Только гору зерна нам не выдавали! За 365 дней – всего 2 мешка...

Что делали с зерном, полученным на трудодни? Хоть мельница в Куцевщине имелась, но для людей она не молола, она молола для скота только. Советская власть, жалея скотов, людей не жалела! Мы все, куцевские, и я в том числе, мололи зерно на ручных жерновах. Два больших камня, один на другом, оба круглые, в верхнем – дырочка. В эту дырочку сыплешь зерно, оно там размальывается. Из-под жерновов мука сыплется в корыто какое-то. А из корыта – уже в мешок. Делали это в сенках. Нет, не в наших, своих жерновов у нас не было. Жернова, как и колодцы, были не во всяком дворе, в том числе были у Байкашей – в нашем «застенке». Бывало, что хлеб на столе не появлялся и неделю, и две, и три подряд. Перебивались картошкой. Когда появлялась мука, мама пекла хлеб. Прежде пекла круглый, потом стала меня посылать к Байкашам, там я брала формочку. Да-да-да, ни формочки для хлеба, ни колодца на дворе, ни жерновов для муки – у нас, Халимончиковых, не водилось. Одним словом: «Мы – такая голода, что хоть нынче – в болото...»

В этой форме – хлеб выпекался кирпичиком. И чего только не добавляли в тесто, чтобы увеличить его объем и массу! И картошку, и свеклу, и многое другое. Но запах хлеба перебивал все другие запахи. Обычно за 1 раз мама выпекала 7 булок. Пекла на неделю, чтоб по одной ели. И только в 1952-м, впервые приехав на Урал, мы все (мама, Зина, Лена, Коля, я) наелись хлеба вволю...

Кто сгинул, кто сбежал...

Были еще нормы на лён. Стоило ему взойти, лён тут же закрепляли за женщинами. «Были бы люди, а староста будет!» Бригадир с «саженем» отмерял каждой колхознице площадь, которую надо было сжать, связать в снопы и отправить на ток, где их обмолят. Да, отмерял он женщинам! «Женщины в колхозах – большая сила!» Да нет же, не большая – единственная сила. Мужиков-то в Куцевщине – почти вовсе не было. Только

больные или дурные! А с них что взять? Все здоровые и разумные – либо сгнули на фронте, либо убежали в город...

Сначала всходы льна надо было полоть, а когда он созреет – требовалось вырывать стебли. Рвали только вручную, вытягивали с корнем, после связывали в снопики невысокие. И оставляли дозревать до такой степени, чтобы зернышки льна в каждой коробочке звенели. Очень красиво смотрелся лён, то есть льняное поле, в пору своего цветения. Это была огромная простыня небесно-голубого цвета. После созревания лён надо было оббивать, чтобы из него высыпались зернышки. Это делали на поле, стоя прямо на коленях. На землю клали широкую самотканую подстилку. Зачем она была нужна? Чтоб зернышки не разлетались. Поверх подстилки – толстая доска, а на ней – снопик льна. Сверху по снопику стучали «праником». Инструмент был такой наподобие деревянной гранаты с длинной ручкой. Затем оббитый лен стелили на скошенную траву, чтобы он вылежался. А как вылежится – развозили лён по хаткам, чтобы его тереть. У перетертого льна – не было кострицы, там оставалось только волокно...

Вот после этого – лен в виде волокна сдавали бригадиру. Так заканчивалась льняная норма, в которой принимала участие вся семья, а не только мама. Я тоже активно работала на льняной норме. И так было по всей Куцевщине – весь лён был на плечах у баб и у детишек! А мужиков при льне не видно было...

Загонят лечиться, откинет копыта

Свои кони в Куцевщине? Не было ни одного! Все коняки до единой – колхозу принадлежали. На колхозных лошадях убежали мы от немцев: в Куковичи (на 1 ночь), в Смаличи (на 2-3 дня). Что фронт немецкий, что тыл советский – кони всюду гибли. На фронте – от выстрелов и разрывов, в тылу – от холода и голода. Ну, пока шла война – никому до коней дела не было! Между Куцевщиной и Куковичами – рос густой ельник, там сделали лошадиный могильник, в него свозили всех коней – умерших и убитых. Только после войны коней стали лечить. Это делалось как раз в «душегубке», она же – «вошебойка». Так прозвали в Куцевщине строение, рядом с которым миной убило Колю Рахелева – моего друга...

«В сталинской дивизии кони золотые, шашки огневые, крепкие бойцы!» Кони были больными, а не золотыми. Огненными были угли, а не шашки. Крепкими были ремни, а не бойцы. Помнится, коня заводили внутрь, там подвешивали на ремнях. Наносили мазь против чесотки, разводили под конем жар. Угли красные тлеют внизу, лошадь испуганная висит сверху, это я сама видела. Ну, да, похоже на лечение для нашего Коли. Прежде – мазь, после – печь. Колю лечили немцы, коней лечили наши. Что же выхо-

дит? Немецкая власть – лечила детей, забыв про коней! Советская власть – лечила коней, забыв про детей...

Не всякий конь мог выдержать подобное лечение: жар, мазь, страх! Опять же, скотинка не своя, перегреть не жалко, подохнет – наплевать. Бывало, загонят коняку лечиться, потом сами зазеваются, коняка откинет копыта. Любой конь на ногах не держался, выйдя из «душегубки» на воздух. Норовил растянуться на траве сразу же. Эта чесотка – болезнь заразная! «Ты его на полу – он тебе: буду снова!» Слово про клеща сказано. Со скотинки на скотинку, с нее на человека, с тебя на меня – всюду клещ чесоточный пролезет. А за скотинкой-то ходили и батька наш (конюх), и наша Зина (свинарка)...

Ну, сколько-то коней вылечили в этой «душегубке», но далеко не всех. Помню точно, что пахать на коровах приходилось. Вот идет корова, верхом на ней – хлопчик сидит, он ее погоняет. Корова тащит плуг, что поднимает пласт земли и широко открывает борозду. За плугом идет женщина, она в борозду бросает кусочки картофельных клубней. Резаной частью вниз – чтобы верней прижились! Целые клубни никогда не бросали, слишком мало их было. Резали каждый на куски, всякий кусок – с глазками...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Не жадность, а голод!

«Дружно працуем мы громадою, знаться не знаем с горем-бедою!» Трудиться дружно – может быть получалось, а вот жить дружно – это другое дело. Соседи вечно ссорились. Например, Гэлячка. Это та самая соседка, что подсмотрела за нашей мамой. И навела партизан на поиски той самой форменки! Зачем она навела? Ей-Богу, не знаю! У нас говорили: «Нема рыбы без кости, нема бабы без злости!» Помнится, с Гэлячкой сроду ругались – за сливы, за яблоки, за все иное-прочее. Сколько жили мы рядом с Гэлячкой – столько и ссорились, даже по мелочам. Почему? Не знаю...

«Не сунь своего носа в чужое проса!» «А каб ты до завтрашнего утра руки на себя наложила!» «А каб тебе до воскресенья не дожить!» «А каб тебе не дожить до дня рождения!»

Была у нас там яблоня, здесь ее называют «уральская полосатая». Росла она почти на меже между нашим огородом и огородом Гэлячки. Яблочки часто падали на нашу сторону. На нашем огороде таких яблок не росло. И вот я вижу, что лежит ее яблочко на нашей земле. Я его подбираю, Гэлячка мне кричит: «Это не ваши яблоки! Зачем ты их собираешь?» «Они же на нашей земле лежат! Кто же их будет собирать?» «Ну, все равно не тронь! Не тронь, кому сказала...»

«По мое добро – ты пришла с горшком, по твое придет – черт с боль-

шим мешком!» «А каб тебе мать свою больше не видеть!» «А каб ты детей своих не увидела!»

Не нравилось Гэлячке, а мне очень хотелось поесть этих яблок. Да не от жадности, а из-за голода! Иногда возьму палочку и подгребаю их на нашу сторону. Межа была, а забора не было. Там же межи кругом, ни у кого заборов не было. Забор был только у крайней хатки да еще вдоль улицы. Огороды друг от друга – не отделялись. И не отделялись они от полей. Могла чужая скотинка забрести в наш огород...

«А чтоб тебе мое добро – да вылезло через ребро!» «А каб твои очи повывлазили!» «А каб тебе скопытиться до вечера!» «А каб тебе очи вороны поклевали!»

Сплошные дрязги! Но так было у всех. С другой стороны – поскольку забора не было, можно было лишнюю грядку сделать, прирезав земли к своему огороду. Председатель наш вместе с «саженем» приходил, помнится, дважды в году: весной и осенью. Засеять грядку после его прихода и собрать урожай до его появления? Наверное, так можно было сделать. Но мы не делали...

Офицер, выстрел, Олежек

Рядом с нашей хаткой – была хатка Алексеевых, а за ними сразу же – Яковчиковых хатка. Помню, их всегда вдвоем, были они сестры: Зоня и Валя. Их дом был небольшой, но какой-то пустой очень. Где сгинули их родители – этого не помню, а вот что жили вдвоем – запомнилось хорошо. К одной из них ходил мужчина. Зачем ходил? У нас была загадка: «Пришел до панёнки – паныч/ И каже: «Позычь!»/ «Ни, панычу,/ Не pozyчу./ Толстый маешь,/ Не вопхашь!»» Отгадка: паныч – палец, панёнка – кольцо. «Толстый маешь, / Не вопхашь!» Палец слишком толстый, в кольцо не пролезет...

Ну вот, Володя Иванчиков на одной ноге с двумя костылями – повадился ходить к одной из двух сестер. Ходил, ходил, ходил – и «находил» хорошенького мальчишку. Олежек был очень красивым ребенком, хотя вырос он вовсе без отца. Когда Олежеку исполнилось 18 лет, его забрали в Советскую Армию, отправили служить в Литовскую ССР. Там-то, на свою беду, он влюбился в жену офицера, который застал Олежека на месте преступления и застрелил его из личного оружия: «Бей врага! Над твоей головою/ Вьется славного знамени шелк./ Каждый недруг, убитый тобою,/ Это Родине отданный долг...»

Об этой смерти Зоня и Валя много позже мне рассказали, когда я была к командировке (1988) и повидалась с ними обеими. И повидала, и порыдала. Стала я прощаться с ними, сестры у меня спросили: «На чем ты, Воля, до нас доехала?» Я им в ответ: «На самолете прилетела!» Они очень удивились: «Аж на самолете? А мы-то за всю жизнь – ни разу не летали...»

«Вот бы, Лёня, всех убили...»

Нашими соседями по бабушкиному огороду были Цыбулевы (ударение на У) – тетка Надя и дядька Степан. У них так же, как у нас, было 4 детей: Миша и Саша, Гэля и Валя. Это была какая-то странная семья. У них всегда в доме был беспорядок. Сорили там все, а порядок наводила одна тетка Надя. Бывало, она «убиранне» закончит, выйдет на двор и громко скажет: «Трясца вашей матери! Як у мяне безпарадок – вси ко мне идут. А як парадок зроблю – ни една собака не забежит...»

Бывало, что дядька Степан идет пешком на базар в Клецк (это 12 километров). Кто-нибудь ему предложит: «Садись, дядька Степан, к нам в телегу!» А он в ответ: «Нема часу, чтоб садиться – иди трэба!» Была у нас песня: «Беларусь, моя старонка,/ Край мой вольны, дороги!/ Ты идзешь наперед гонко/ Нясешь Ленина стяги». Это прямо про дядьку Степана: «Ты идзешь наперед гонко!» Быстро он шел вперед. Вот не помню: зачем он ходил на базар? С чем назад (еще 12 кмэ) приходил? Быть может – ни с чем, с пустыми руками? Про таких говорили: «Хоть купить не купил, а поторговался всласть!» Еще я помню, как мы, мелюзга, издевались над дядькой Степаном. Мы стучали по стене и не давали ему заснуть, если он ложился в сенках. Во время войны у дядьки Степана убили сына, и тетка Надя очень скоро умерла...

Всего у Цыбулевых было 2 сына, старшего звали Миша. Он часто приходил к нам и любил играть со мною, подкидывал меня под самый потолок. Однажды он ударил меня головой, и после этого мама запретила ему меня трогать. Наверное, Миша был больной, потому что его не забрали на фронт. Он еще говорил маме: «Вот бы, Лёня, всех убили, только мы с тобой остались! У нас бы тогда – добра было много». Вышло совсем иначе – убили самого Мишу. Убили в войну. Кто его убил? Оккупанты немецкие, партизаны советские? Этого не помню. Зато хорошо помню, что Миша был высокий и крепкий. И мертвого Мишу – везли сразу на двух санках. На одних он бы не поместился...

Нету вовсе харчей, только куча детей!

Мама любила ходить к гадалке! Даже к обеим она ходила, ведь в Куцевщине их было двое. Одну Наталя звали, другая звалась Идаля. Одна жила в левом «застенке» Куцевщины, а другая в правом, подальше друг от друга. Как только жирность у молока упала – обе гадалки сказали враз: «Ждет тебя, Лёня, казенный дом!» Думаю, что обе-две просто знали о повестке, на селе все на виду. «Казенный дом» мог означать и разбирательство в суде, и пребывание в тюрьме. Но сколько лет могут дать? Этого гадалки не сказали маме...

У гадалки Идали была фамилия Рыло, и было у нее 11 детей. О таких говорили: «Развязался мех ажно не на смех!» Как правило, все 11 детей голыми сидели на печке. Старшего сына звали Тоня (Антонин). Это тот самый школьник, что позднее утонул в омуте – накануне школьного выпуска. Мужа у Идали не было – его убили партизаны. Так у нас говорили – говорили все, что погиб он еще при немцах. За что убили? Может быть, за предательство. Может быть, без причины. Как могли убить маму – из-за той самой форменки! Может быть, вообще по ошибке убили? Или партизаны стали его грабить? То есть заявились в хатку, чтобы отобрать продукты: «Красной Армии грозен шаг, будет уничтожен в логове враг!» А муж Идали, скорей всего, начал сопротивляться: нету вовсе харчей, только куча детей...

Но полицаем муж Идали точно не был! Среди наших никто полицаем не стал, полицаи приходили в Куцевщину со стороны. Говорили они по-белорусски, носили черные шапки и черные шинели, ремнями туго перетянутые...

Хатку не спалили, и на том спасибо

«Показал себя отряд,/ в меру постарался –/ от фашистов, говорят,/ уголек остался!» Ну вот, после фашистов – остался уголек, а после погибшего мужа – осталась его вдова, Идаля Рыло. Точнее говоря – 1 мать и 11 детей. Слава Богу, партизаны ее хатку не сожгли! И на том спасибо. Помню, большая была хатка с одной комнатой и большой печкой, и все 11 детей на печке голые сидели. Одежи нема, ходить не в чем! Растянишь на печи да считай кирпичи. Сперва-то фамилия у них была Рыло, а позже она стала писать: Идаля Рылова. Над нею шутили: «Букву «ка» спереди добавь!» «Это зачем?» «А чтоб из свиной – к птицам перейти!» «То есть как?» «А вот так: была Рылова, а будешь Крылова; было – рыло, а будет – крыло...»

Ходили мы с мамой к Идале круглый год, зимой и летом, весной и осенью. Шли только после заката, раньше идти не стоило. Только после заката – Идаля соглашалась гадать. Бывало, придем к ней, войдем в хатку. И хатка – была больше нашей, и печь у них – была больше, но было всегда – холодней, чем у нас. Идаля ведь жила одна, пойдика, набери дров в одиночку, чтобы протопить такую хату! Ну вот, мы зайдем, мама сядет к столу, Идаля трижды бросает карты. И маме расскажет: что было, что будет, чем сердце успокоится...

Мне не очень-то понятно, я не вниз на карты, а вверх на печь смотрю! Стоят эти дети, все 11 душ, на этой печи. Некоторые – в полный рост, иногда – в голом виде. Письками трясут, на меня глядят. Сначала с испугом, потом без страха, затем язык показывают! Я не решалась в ответ язык высунуть...

Как черта ни крести...

Гадалка Наталя совсем одна жила, ни мужа, ни детей, и хатка у ней была небольшая, зато с иконами. Это та самая хатка, где немец на стол нагадил. Куда делся муж Натали? С голоду помер или от пули – не знаю я. «Каждую пулю – в немца! Каждого немца – в сердце!» Не только в немцев летели пули. Потому и мужиков в Куцевщине – почти не было! Мы же считали – из каждых 5 мужиков, которых на войну угнали, дай Бог, если 1 вернулся. Кто остался в живых? Лишь деды старые да хлопцы малые...

Приходили к Натале я и мама вечером, на закате солнца, чтобы гадание вышло надежное. Хотелось, к примеру, узнать: куда ходит наш батька, к которой из баб? Бывало, разложит Наталя колоду – карты были, например, такие же, как сейчас. «Дама у тебя, Лёня, дама! Все время рядом с тобою червонная дама! Мешает она тебе!» То есть какая-то светловолосая женщина, к которой батька все время захаживает. Мама решила, что это наша соседка, жена мужика по кличке Кот, который в тюрьме сидел одно время. Мама ходила к этой соседке ругаться, а позднее мама пригрозила батьке: «Теперь-то я знаю, к кому ты зачестил. Еще раз туда пойдешь – я у нее в хатке все окна повыбиваю!» Что батька ответил? Заматерился! И обозвал маму по-всякому. Ходил ли батька к жене Кота после этого – знать не могу, но из конюшни он – домой не сразу шел. Скорее всего, и прежде ходил, и после ходил. У нас говорили: «Как черта ни крести, все одно просит: в болото пусти!» Бить соседке стекла – мама не пошла. Могли ведь засудить, как засудили Петру. А тюрьма – это жаж...

Бывало, под Рождество – Наталя гадала на бумаге и на заслонке. Я всегда сидела рядом с мамой, и все гаданье слушала внимательно. Помню, лампа там горела керосиновая. Черный кот и черный ворон? Ничего такого у Натали не было, только старых карт колода. Как поругается мама с батькой, так идет гадать к Натале. А ругались они часто, помнится, в неделю раз – мама точно с ним ругалась...

300 рублей – куча денег!

Что Идаля, что Наталя – платы никакой не брали. Ни деньгами, ни яйцами, и не только с нас. Ходили-то к гадалкам не мы одни, вся Куцевщина ходила, наверное. Нет, местная власть не преследовала ни Наталю, ни Идалию «за служение культу». «На поле нашем, поле калгасном – деньки проходят весело, ясно!» И на колхозном поле – гадалки не рбили. Почему? Ну, Наталя – ведь она была уже совсем старая. А Идаля была многодетной, поэтому ее не трогали. Тем более, что все 11 детей – были босыми, худыми

и голыми: «Дитя чужое – вроде худенько, а все же матке – оно миленько...»

Однажды мама потеряла деньги, и тоже к гадалке пошла. Как потеряла? Положила 300 рублей куда-то, а куда – забыла! Это понять надо, что такое 300 рублей для колхозника. Если на трудодни не дают ни копейки? 300 рублей – куча денег! Что-то мама продала накануне, чтобы с этой суммы Зине купить туфли. Затем мама пришла домой и на обувную полку (под самым потолком батька ее прибил) в какой-то башмак деньги засунула. Я это видела, и позже ей сказала: «Мама, деньги надо вот здесь искать». Она в ответ: «Нет, здесь ничего нет!» Видимо, просто плохо искала. И вот решила пойти к гадалке. Наталя ей сказала: «Твои гроши – в твоей хатке!» Мама вернулась до дому и начала перетряхивать каждый башмак. «Мама, я ж вам говорила, что вы их на полку кляли!» На «вы» маму звала не одна я, так было принято по всей Куцевщине. И батьку тоже: только на «вы»...

Всего 6 пар там было обуви, никак не больше, и рубли выпали – не помню, из какого ботинка. Словом, деньги мы нашли, туфли Зине мы купили! Я успела размечтаться: «Вот я подрасту, а Зина их сносить не успеет, так я их поношу сама!» Еще о маминых ботинках (теплые очень, на каблучках) я также мечтала. На 2-й или 3-й день у новеньких туфель каблук отлетел, Зина аж расплакалась, а мама говорит: «Не расстраивайся так, батька наш – сапожник, мы попросим его – он прибьет каблучок!» А батька не прибил каблук, орать он начал на нашу маму: «Купить не успели, уже оторвала!» Не захотел он туфли чинить. Так они и валялись без каблука, пока батька не выбросил их...

Жадная свинья, малое дитя

У бабы Нади (что трясла головой) был какой-то родственник, примак Петра его звали (тоже тряса головой). Может быть, Петра воевал и был контужен? Не знаю. У этого Петра была жена – баба Зося. Во время войны, бывало, крикнет кто-нибудь: «Нямцы прийшли!» И все бегут – кто куда прятаться, а баба Зося бежит и какает на ходу: шлеп, шлеп, шлеп! Где она пробежалась – там дорожка осталась. Со страху, конечно! Бегала Зося к нам очень часто – под лавку залезала. Видимо, тогда в ее хатке-то не было мужа! Должно быть, Петра на фронте был. Потом он вернулся, стали они жить – Петра и Зося, родился у них ребеночек. Был он мал совсем, когда беда случилась! То ли худо баба Зося за ребеночком глядела? А как углядеть, если ты на поле колхозном, а дите в хатке осталось. То ли хатка у них была слишком худая? Я их хатку помню, всюду были дыры – в крыше, в стенах, в дверях...

«Мы Волго-Дон построили! Уолл-стритовцев расстроили». Точно, кана-

лы для пароходов советская власть охотно строила. Другое дело – хатка для людей или загон для свиней. У Петры и Зоси свиньи жили (как у нас) под одной крышей с людьми. И только входы были отдельные: в сенки к свиньям – один, в хатку к людям – другой. Но кровля была общая! Видно, ребеночек пролез через худую стену – из хатки в сенки. Там свиньи его погрызли не то покусали, и вскоре он помер. Слыхала я поговорку: «Лишняга і свінні не ядуць». (Лишний кусок и свинья не тронет). Это не про наших свиней сказано! Наши были голодны, так же точно как мы сами...

После этого баба Зося в уме повредила. Могла летом по дождю – пойти в валенках. И без калош – прямо по лужам. «Эй, Зося?» «Ну шо?» «Мабуть, тоби калоши трэба?» «Нийчога нэ трэба!» «Ну, як знаешь». Вскоре похоронив ее, Петра начал ходить к девкам Цыбулевым. К тем самым, неопрятным! В грязной одежде, с нечесаными волосами. Нет, не сошелся Петра ни с одной так, чтобы жить вместе. Но ходил он к ним долго...

Откуда столько денег?

Облигации были в каждой хатке, это точно! Как же им не быть, если госзаймы, как и госпоставки, были регулярными? Даже у нас, у Халимончиковых, у самых бедных на деревне, в хатке были облигации! Таблицы в газетах? Ни таблиц, ни газет – в Куцевщине я не видела ни разу за 17 лет (1939-1956). И мы даже не слыхали, что по облигациям может быть выигрыш. Ни от кого не слыхивали, ни в Куцевщине, ни в Раевке, ни в Несвиже – нигде и никогда. Гроши отняли, бумажки дали! Вот тебе и весь сказ...

Была у меня подруга – Валя, прозвище – Ганина, фамилия – Бич. У них отец погиб на войне, они жили четвером: Валя, ее мама, ее бабушка, ее брат. В ночь под Рождество взрослые гадали на женихов, ну и мы с Валею – решили погадать. Пошли вдвоем на «сметник» (место свалки мусора), чтоб съесть там блин. Ели очень медленно, чтобы дождаться – когда же залает собака? В какой стороне она залает, в ту сторону и замуж пойдешь! Так у нас говорили. Было и такое гадание: смятую бумажку сжигали на заслонке. Она догорит, начинаем гадать: на что похожа тень от пепла? Чтобы было удобнее – эту тень сперва обведут углем, а уж потом – ломают голову над рисунком. Однажды погадать на сгоревшей бумаге нас попросила бабушка Вали. Рисунок от ее бумаги оказался похож на гроб. Недели через 2 бабушка умерла...

«Не делец тот, а чудака, кто зажал деньгу в кулак!» Ганины деньгу в кулак не зажимали, наоборот по всей хатке валялись во множестве бумажные «гроши» (деньги). Видимо, старые рубли, вышедшие из употребления в

1947 году. Но у нас-то в хатке – и таких рублей не было. Мама мне объяснила, что мама у Вали – «партейная», что она работает «возчиком малака» и что они получают деньги «за убитого батьку». Но я так и не поняла: почему денег у Ганиных было так много? И они валялись всюду, на подоконнике, на лавах, на полу. Мы с Валею брали их, играли ими, а потом кляли назад...

Валею Ганину часто обижал Миша (ее старший брат). Однажды она решила уйти из дома и позвала с собой меня. На закате мы с Валею, ни сказав никому ни словечка, вышли за околицу, в сторону Смаличей. И стали думать: что делать дальше? Сели на траву и решили твердо: «Не пойдем до хатки мы, пока нас искать не станут!» Шло время, темнелось, а нас никто и не думал искать. Тогда мы решили вернуться до хатки, а про Мишу, Валиного брата, сочинили стишок: «Не буду носить я побоев,/ Не буду носить синяков!/ А ворогу, кату, злодею/ ОтОмщу во веки веков». Этот Миша умер рано – был он очень больной и не вполне нормальный...

За 1 камень – тюрьмы 2 года

Жила-была в Куцевщине бабка Раманиха, а попросту – тетка Надя, очень странная. Мужа у нее не было – видимо, сгинул во время войны. Было у Раманихи 2 детей: дочь Зоня, которая вышла замуж в Несвиж за военного, и сын Коля, нашего Коли ровесник и приятель. У Раманихи была привычка: если начнет ругаться, то задерет юбку и покажет голую задницу – безо всяких трусов! Вообще-то в Куцевщине – иногда трусы носили. Помню, мама шила к школе мне трусы...

Ну вот, эта голая задница всем надоела так, что Петра Данилов (сосед Раманихи) однажды не выдержал. «Цель капитализма всегда одна: эксплуатация, гнет, война!» У Петры цель была другая – задница Раманихи. И когда она снова задрала свой подол, Петра запульнул ей камешек. Угодил прямиком в оголенное место! Какого размера камешек? Ну, примерно 10 сантиметров. Из-за камешка Петру засудили, дали ему 2 года тюрьмы. С тех пор Раманиха стала хромать на одну ногу, но задницу больше она не показывала. Ни старым, ни малым...

Еще Раманиха могла прийти по-соседски в нашу хатку. И сидела там очень долго – мама возится по дому, а Раманиха болтает без умолку: «Языком молоть – не дрова колоть!» Час пройдет, другой начнется. Мама, покончив с иными делами, примется сажать в печь хлебы. Тут Раманиха соскочит с лавы и начнет бить себя по бедрам: «Ах, Лёня, Лёня, тряса твоей матери! Я же тоже еще утром – посадила в печь хлебы. Чому же ты мне не сказала, чому ты мне не напомнила?..»

Каждого накормят досыта!

«А в тюрьме сейчас ужин – макароны дают!» Фраза из советского фильма? Слова из моего детства! Помнится, что изо всей Куцевщины, изо всех наших сельчан – в тюрьме побывали лишь 3 человека. Наш дядька Юзик (родной брат батьки) – за свою свинью, Петра Данилов – за Раманиху, а третья была – Вуля (Уля). За что она сидела и сколько отбыла? Сейчас не скажу. Помню, что Вуля тюрьму хвалила: «Лапшой, макаронами, вермишелью кормили! Каждый день! Разного сорта!» Мы-то в нашей Куцевщине – даже слов таких не знали: лапша, макароны, вермишель...

Что мы жевали обычно? Даже пшено и ячмень ели досыта не все. Каша из них была на столе только у тех, кто имел большой огород. То есть далеко не у каждого! А пшеницу и рожь – нам выдавали только на трудодни, они же «палочки». Стало быть, выдавали – очень неаккуратно и всегда понемногу. Вся эта выдача, все это зерно – шло на хлеб, который мама сама пекла. Что ж удивляться, что нашей Вуле в тюрьме понравилось? За решетку посадили – и бесплатно накормили! Понятно, в чем дело? Кормили вне зависимости от трудодней, которые в колхозе ты заработал – или же не заработал! Кормили без всякой связи с наличием зерна в колхозной житнице – или же его отсутствием! Кормили за просто так...

У нас говорили: «Иди сюда, тата, тут грибов богато!» Вуля прямо-таки зазывала всех нас в тюрьму, где каждого накормят досыта. Можно сказать и так! Однако никого из куцевских Вуля не поразила настолько, чтоб он в тюрьму сел добровольно. Ради сытной пайки...

Кролики, клевер, кровь

Кроме Вали Ганиной, была еще у меня подруга – Лариса Рахелева, двоюродная сестра Коли Рахелева – моего друга детства, что погиб от мины. Рахелевы были нашими соседями – по бабушкиному огороду. У них была семья большая, включая бабушку, ее все дети звали «бабунькой». «Белофинн в лесах таится –/ видно, доля нелегка!/ Эх, боится, эх, боится/ белый – красного штыка». Белые финны боялись красных штыков? Ей-Богу, не знаю! А вот наши соседи – точно боялись немцев. Если в Куцевщину приходили немцы, бабунька бежала к нам в хатку, лезла под лаву и сидела там, пока немцы не уйдут. У бабуньки спрашивали: «А почему вы не прячетесь дома?» Она в ответ: «Мне же дома жажно!» «А у Лёни?» «У нее не жажно...»

Лариса Рахелева – бедная девочка! Ведь она помогала мне рвать «канюшину» (клевер) для прожорливых «трУсов» (кроликов). Так мы сдавали

госпоставку по мясу. Лариса 5-ю годами была моложе меня, и пальчики у нее были нежнее моих. А стебли у клевера были очень жесткие. Поэтому у Ларисы на мизинчиках всегда выступала кровь. Но она все равно каждый день приходила! И мы с ней отправлялись заготавливать корм для ненасытных кроликов, чтоб они подошли. Я до сих пор (2012) этих «трУсов» ненавижу, хотя понимаю, что они-то сами ни в чем не виноваты. После 1960 года – брат Ларисы, Геня, забрал ее к себе в Минск. Там она тяжело заболела и очень скоро умерла...

Помню, как Лариса хлеба просит: «Бабушка, злеба!» Бабушка подаст кусочек, а Лариса добавит: «А для Вольцы?» И той ничего не оставалось делать, как отрезать мне тоже – кусочек хлеба. Так же просил у бабушки хлеба на мою долю – Коля, брат Ларисы (пока не погиб). Слава Богу, бабушка не была жадной. Не была такой, о ком сказано: «У скупой Одарки и за щепку сварка». А ведь лишнего хлебушка у колхозников не было! Что у них, что у нас – не бывало отродясь. Тем не менее, я для Ларисы – тоже просила хлеб, и моя мама тоже угощала нас обеих. Позже (1988) мне показывали фото Ларисы – совсем взрослая девушка. Но в моих глазах она навсегда осталась той маленькой 5-летней девочкой, вместе с которой мы рвали колхозный клевер...

ГЛАВА ПЯТАЯ

Рассказ о свинье, донос в НКВД

«Нет на свете прекрасней одежды, чем бронза мускулов и свежесть кожи!» Это верно, что ни лето – мы ходили почти без одежды и совсем без обуви. Никакие обноски не спешили выбрасывать. Долго носили любую вещицу, очень ценили любую тряпицу. Одно время в нашем конце вулицы стояла пустая хатка. Почему-то в ней уже давно никто не жил. Говорили, что прежде там ютилась какая-то Мотынька, но потом и она куда-то исчезла. В общем, никого в хатке не осталось. А форточка там (в одном из окон) была прикрыта лоскутом гипюра, похожим на кружево. И этот лоскут очень понравился мне и Вале Цыбулевой, моей подружке. Нам страсть как захотелось из гипюра сделать кружева для куклы. Однажды Валя, она была повыше, подняла меня на руки и поставила на откос окна. Я отцепила этот лоскут и принесла его домой, где показала маме. А та сразу же спросила: «Где ты, Воля, ее взяла?» И тут же приказала вернуть гипюр назад, так мы с Валей и сделали. «Вот если бы не вернули, - мне объяснила мама, - так вышло бы, что вы гипюр украли!» Если украли – в тюрьму посадят. А тюрьма – это жаж...

Каждый помалкивал, но все мы помнили про дядьку Юзика (Иосифа). Того самого, что был родным братом нашего батьки. Дело было еще до войны. Однажды ночью дядьке Юзику приснился сон: его свинья пошла бродить. И добрела до пограничного рва. Тогда граница выглядела как земляной ров или широкая канава. То ли бойцы зазевались, то ли свинья исхитрилась? Только они ее проглядели! Свинья сначала – сверзилась в ров с нашей стороны. А затем – вылезла из него на чужую сторону. То есть перешла границу между СССР и Польшей. Дядьке Юзику сон показался смешным – и он рассказал про свинью в людном месте. Видимо, кто-то донес об этом в НКВД. Зачем донес? Не знаю я! Может быть, хотел отомстить дядьке Юзику? У нас говорили: «Один пень горел – другой спину грел!» И рассказ о свинье, и донос в НКВД – все случилось в один день, а в тот же вечер – к дядькиной хатке подкатил «черный ворон». Он увез Юзика навсегда – больше никто его не видел. У дядьки Юзика осталось 4 ребенка: Ваня и Коля, Маня и Валя. А наш батька с ними почему-то не родился. И вот тетка Катя одна подымала четверых детей. Не дай Бог никому...

«Бани нема?» «Совсем нема!»

Во что мы играли тогда? Играли в «дом», в кукол, в «схОванки» (прятки). Прятаться мы любили не только в хатке, но и в траве, и в жите (оно было в рост 10-летнего ребенка), и в стогах соломы или сена. В «дом» играли в курятнике или на дворе. Ходили в гости, где угощали друг друга «колбасой из лука». Это 10 или 20 луковых перьев, вставленных друг в дружку. Сытно ли это? Не очень-то сыт будешь, зато не станешь чавкать. Никто тебе не скажет: «Плямкаешь, як свиння...»

Однажды мы с Вале́й Бич заигрались в курятнике допоздна, куры уже начали взбираться на насест. И тут одна из них каканула мне на голову, то есть на косынку новую из парашюта. Так называли шелк оранжевого цвета. Пятно в косынку намертво въелось, и мы не смогли его отстирать! «Грязные руки грозят бедой./ Чтобы хворь тебя не сломила./ Будь культурен: Перед едой/ Мой руки мылом!» Конечно же, против хоз.мыла – пятно бы не устояло. Да ведь не было мыла! Мы ж его в глаза не видали. И сами мылись, и белье стирали, и посуду мыли – щёлоком только. И была даже байка: «У бабки спросили: «Бани нема совсем?» «Совсем нема бани!» «А где мыться?» «Да в речке». «А зимой?» «Да сколько той зимы-то...»

«Лялек» (кукол) нам делали из всякого подручного материала (когда он имелся): из кусочков ткани, из старой одежды. Помню, как мне мама сшила куклу из детских шапочек (чепчиков). Позже был случай, связанный с «карунками» (кружевами). Однажды я сама сшила себе куклу, и мне

захотелось ее одежду украсить чем-нибудь. Тут я вспомнила, что у мамы где-то лежат кружева, я добралась до них и раскроила на куски. Все, что нашлось – в дело пошло. Когда мама пришла, я показала ей свои выкройки, она меня поругала, но не очень сильно. Однако больше я так не делала...

Грязью измажешься, жижей умоешься

«Да здравствует мыло душистое, и полотенце пушистое!» Никакого мыла в целой Куцевщине не бывало отродясь, все мы стирали и мылись в щелоке. Сначала кипятили воду, в чугунке это делали. Потом вынимали чугунок из печи и переливали кипяток в другой чугунок, куда заранее была насыпана зола. Так возникал раствор, когда он настоится, станет более мыльным – тогда его сливают. Осторожно сливают, чтобы вся гуща осталась на дне, иначе получится грязь, а не щелок. «Давайте же мыться, плескаться, купаться, нырять, кувыркаться!» Нырять в корыте не получалось, мы лишь стирали одежду и сами мылись в этом скользком растворе. Использованную воду выплескивали на двор, где за зиму целый бугор вырастал...

Летом купались в Рыловой Сажалке. Кони, телята, люди – все мы плескались вместе. То ли это был овраг, с глиняным дном, хорошо державшим воду? То ли воронка от снаряда? А только всякую весну и осень – возникал там водоем. В эту пору дожди шли почти ежедневно. И они наполняли до краев эту чашу. Летом же сажалка пересыхала – сухая грязь там была сплошная. А зимой под снегом терялась и сама сажалка, и тот мостик, что торчал над ней. Весной и осенью с этого мостика мальчишки сигали в воду. Только ногами вперед, никак не головой, там же мелко было – даже мне до груди. И никто из нас – там не утонул. Я-то сама заходила по колено только, боялась я глубины и тесноты. В общем, там было очень удобно. Тут же – в грязи перемажешься, як малое парася, тут же – умоешься жижей! У нас говорили: «Было бы балота, а жабы знойдуща». (Найдется, где купнуться – купальщичики найдутся). Бани-то не было, реки не имелось, вот и радовались мытью – даже в сажалке, 3 месяца весной и 3 месяца осенью. Это было веселье! Взрослые не запрещали плескаться. Ведь не утонешь – чего ж бояться...

Коней купали тут же, они стояли по колено в воде, пили ее, наслаждались прохладой. И пастух был не прочь – если все кони вместе да в пределах видимости – ему же легче! Не трэба башкой вертеть, не трэба высматривать: «Куда девалась гэта Волька норовиста?» И телята, что паслись рядом, норовили влезть сюда же, в эту сажалку. Жабуренни – это икра жабы, каждая икринка – размером с зерно кукурузы. Цвет серый, как сопли. В се-

рой икринке – черная точка, будущий головастик. Икринок этих в одном помете – комок с мой кулак. Вот пацаны наденут этот комок на палку – и носятся с криком: «Жабуренни! Жабуренни! Жабуренни!» Надоест носить – бросят его в кого-нибудь. Или того хуже – сунут тебе за пазуху этот холодный и скользкий комок. И живых лягух – пацаны ловили, засунут в зад соломинку, и дуют, дуют, дуют – пока она не лопнет. Или опять же – живую, скользкую, холодную лягуху – кинут тебе за пазуху...

Кошки рожают, котята кричат...

До войны на этом месте ничего не было – так мне говорили. «Поперхнулся паровоз/ около преграды –/ враг снаряды не доведет,/ лопнули снаряды!» Лопнули не лопнули, но что-то здесь взорвалось точно! Не то снаряд угодил, не то бомба упала. Может быть – советская, может быть – немецкая. И возникла здесь воронка – большая очень, больше Рыловой Сажалки. Только сюда никто купаться не лез – слишком крутые были склоны, слишком большой была глубина. Словно экскаватор вырыл эту ямину с отвесными краями. Сунешься купаться – вылезти не сможешь! На помощь позовешь? Спросят у тебя: «Ты зачем полез?» И помочь не смогут! Короче, ни скотам, ни людям – для купания воронка не годилась...

Зато она сгодилась, чтобы топить котят! Кошки были в каждой хатке, так как всюду жили мыши. А рожают кошки – каждые 2 месяца. Куда котят девать? Вот и придумал кто-то умный – «утапиць кацяня в гэтай воронцы». Там и зрячий взрослый человек – не мог выбраться на берег. А слепой новорожденный котенок – тем паче не мог спастись! Зато любой котенок – мог долго плавать, долго кричать, долго мучиться. И душу нам выматывать! Хотя была эта воронка – за нашей околицей, вне пределов Куцевщины – крики котят были слышны везде. На дворе у кого-то, на наших могилках, на вулице даже кое-где. Я нарочно такие пути выбирала, чтобы их не слышать...

Пойти и спасти? Во-первых, скорей сам потонешь, чем спасешь котенка. Склоны-то отвесные! Во-вторых, если спасешь – куда девать? Хозяева его не примут, тебе он тоже ни к чему. Так вот и шло изо дня в день! Кошки рожают, люди топят, котята кричат. Что тут скажешь? Тярпи, Зося, як пришлось...

УКРАИНЕ С ЛЮБОВЬЮ

СТИХИ УКРАИНСКИХ ПОЭТОВ

Перевёл с украинского **Аркадий Штытель**

Ужасно, когда музы умолкают под грохотом пушек, и сквозь него с трудом пробиваются негромкие голоса лирических поэтов. И всё же мы их слышим. Если и они слышат нас, мы говорим им: стойкости вам!

За вашу и нашу поэзию!

Васыл Махно (р. 1964)

* * *

течет времен воздушная река
лук с лирой – их как женщину рука
ласкает – запирает на три замка

дороги на ночь – шороха одежд
золы – сплетя узлы – усни промеж
или следы из-под прикрытых вежд:

за теми приносящими дары:
сухие стебли – горные миры –
рыбешки плавничок песок икры

припомнишь детства золотой оплот:
незримое тепло паук плетет –
и пчелку липкую которой подметет

пути злой ветер – и время невзначай
как божий странник спички – подбирай
и перстни звякают и остывает чай

вся болтовня про прошлогодний снег
про ключарей ворота и побег
трубу и бычий рог и кто стратег

сей замыкает анабазис зим
промедливая запахом: бензин
всласть прожигает воздух – шерсть козы

снега напоминают – сходни драм
разбито войско – корчится от ран
король – их бог – актер что отыграл

растенья сада у залетных флор
расспросят про дороги и простор
про струи воздуха чей молчаливый хор

занес и их язык в словарь хазар
что пахнет морем и песком – и за-
пахи мгновенные как сад

и не уменьшишь этот скудный скарб
творенья мира из картонных карт
прозрачного как темя родника

а сосчитав все спицы в колесе
времен – не раз – по сорок и по семь
свершилось все – и беспредельна сеть

ЖЕНЕ

нам вновь затвердить остается вдвоем
тесемку имен что идут с Рождеством
как старую моль – с архаической свечкой –
пшеничное спрятать в ладони зерно
все молча – и пить согреваясь вино
зимой заменяющей вечность
вечерняя музыка сонно снует
она за порогом и знак подает:
глядеться в глаза – из тесемки безопасно

тончайшие нитки надергать в слова –
и тепел и сладок наш снег Рождества
– как сахарная овечка

уже засветились ряды фонарей
и нас не проминут трое царей
и в доме всего у нас вдосталь
порывисто дышит свеча над столом
и выключив свет – мы как дети – вдвоем
ищем Господню звёзду

* * *

и ремесло и опыт – как змея –
все умудренней – молоком облиты
дни зимние как хлебы – сыты-крыты
медвяны сны – и речи толчя

всех призовет по имени – но лиц
она не помнит – их смывает время –
и ты меж ними – брошенное семя –
челнами что из прошлого пришли

и в прошлое ушли – бумажным сном –
и словарем реки – и солью моря
тех вызовут кто этой речи вторит
раскинув парус – горбясь над веслом

ибо слова бесследны – меж пропаж
кликнуть – зазевавшихся обозных
сточить крыло орлиное о воздух
и на бумагу бросить карандаш

Петро Мидянка (р.1959)

* * *

Лужански воскресеньем звук все ж слаще,
Чем прочим Божьим днем. Уже с утра
Отавой топотала детвора,
Где груши-падалки коричнево-блестящи.

С верхов брели старухи; подуставши,
О стену опирались. Под горой
Перед порогом корчился сулой,
Белея, восходил туман над чащей.

Мир ежевичников и травяных усов
Помягче стал от птичьих голосов.
И ты, с улыбкой чудной, яснолика,

В платочке до бровей, идешь ко мне.
Коровий колокольчик на холме,
Посреди лега запах базилика.

* * *

Расплескался серебром Надь-Аг,
С глубями зелеными при устье.
Где б прочесть про наше захоlustье,
Где там Горнад, Лаборец и Ваг?

Сам подашься в дальний Яблочин,
Вспомнишь омуты, где ямина на яме.
Холмщина с полями, с журавлями,
Что Канон, что Литургийный Чин.

Вот топают жандармы в Ясеню,
Распотрошив по выселкам родню,
Взмутив колодцы тихой чистой влаги.

Попотчевав лещиновым дрючком,
В Сигит отконвоируют молчком
И шконку забронируют в тюряге.

Богдан Антонович

КОРЧМАРСКИЕ ЧАРЫ

Кривая свечка, нож щербатый,
вот краля – краля черв точь-в-точь.
Смешались явь и сон крылатый,
и все неправда – чары, ночь.

Дрожит губа на кромке чарки,
и горло не сглотнет вино.
Сто золотых даю, корчмарик,
за эту ясную луну.

ПОВЕСТЬ ЯВОРА

Маленькая баллада

Был дьяк, при нем красotka-дочка,
был явор на краю села.
Любовь была, хмельная ночка.
От явора и понесла.

Скончался дьяк, не снес неславы,
все гневался на плод греховный.
Весь в мать, растет кустом кудрявым
сын явора и той дьяковны.

ЧЕРЕМУХОВЫЙ СТИХ

Дымится ночь хмельных соцветий
в черемуховой теплой мгле,
и, точно звезды, буквы светят
в раскрытой книжке на столе.

И вот уж стол оброс листвою,
я, вместе с креслом, стал кустом.
Древесной мудрости листаю
черемуховый вечный том.

ПРОПОВЕДЬ РЫБАМ

Всем карасям, всем карпам и всем дельфинам,
всем братьям из соленых или сладких вод:
– Не надо нам икры, тем более – фишбина,
мы жаждем приключений, и просторов, и свобод.

Нам тяжела вода, но небо тяжелее.
И потому нас манит ваша глубина
и нас зовет к себе, и наши сны лелеет
коралловый ваш бог с морского дна

ЗИМА

Шьют лисам скорняки одежду,
трубят на бурю ветры грозно.
Побереги под вьюгой, Боже,
людские и зверячьи гнезда.

В сто мельниц мелется пшеница,
ложится серебро-синим хлебом.
Навстречу буре ночь искрится,
жилые приманивая небом.

КАРПЫ

Запели карпы, сталь взрезает плёсы;
как веки сундуков, вздымает кровли ветер,
и окуням читают проповедь берёзы.
Такого нет и не было на свете,
нет-нет, не верьте!

А было, что я видел утром рано,
где речка роще корни омывает,
когда ветра так ревностно и рьяно
подружек для купелей раздевают.

ВЕСНА

Растет Антонич, и растет трава,
и кучерявятся и зеленеют ольхи.
Пониже стоит наклониться только,
услышишь наитайнейшие слова.

Весна, дождем апрельским не тревожь!
Кто истолок стеклянно-голубое –
небесный жбан – и сыплет стеклобоем?
Ты в решето ловить затеял дождь?
Всего чудней речь рощ, дерев молва:
глянь, ядра-звезды, ночь – чернее пушки,
луну на ольхах расклюют кукушки,
растет Антонич, и растет трава.

ВИШНИ

Был майский жук Антонич, жил на вишнях,
тех самых, что Шевченко воспевал их.
Страна моя звездная, библейская, пышная,
отчизна соловья и вишен небывалых!

Где вечера евангельские, где светает,
где небо солнцем привалилось к стенам,
вновь кучеряво вишни зацветают,
как при Шевченко – так же вдохновенны.

ИНТЕГРАЦИЯ

Русско-немецкий характер нашего журнала, понимаемый расширительно, заключается не в его двуязычии. Переводческие работы имеют вспомогательное значение для выражения его двойной ментальности.

Главное назначение русско-немецкого журнала – показать на реальных примерах весь непростой путь вхождения русской эмиграции в немецкое общество устоявшейся демократии, а также обозначить проблемы, встречающиеся в ходе превращения русского эмигранта в европейца.

Таким образом, основным содержанием нашего русско-немецкого журнала должны быть вопросы интеграции русских эмигрантов в немецкую и общеевропейскую систему ценностей без потери, однако, собственной национальной идентификации.

Именно так следует понимать и содержание рубрики «Интеграция».

INTEGRATION

Die russisch-deutsche Ausrichtung unserer Zeitschrift beruht im weitesten Sinne nicht schlechthin auf ihrer Zweisprachigkeit. Die Übersetzungen haben eher eine Hilfsfunktion, um gewissermassen eine Doppelmentalität zum Ausdruck zu bringen.

Vor allem ist es unserer russisch-deutschen Zeitschrift daran gelegen, an realen Beispielen vor Augen zu führen, wie die russische Emigration sich auf einem nicht einfachen Weg bemüht, sich in deutsche Gesellschaft mit ihrer festgefühten Demokratie einzubringen. Hierbei wird auch deutlich gemacht, auf welche Probleme der russische Emigrant stösst, wenn er sich anschickt, sich unter die Westeuropäer einzureihen.

Aus diesem Grunde sollen im Mittelpunkt unserer russisch-deutschen Zeitschrift Themen stehen, an denen veranschaulicht wird, wie die russischen Emigranten sich in das deutsche und gesamteuropäische Wertesystem integrieren, ohne dabei aber ihre eigene nationale Identität aufzugeben.

Eben diese ganze Problematik wird denn auch in unserer Zeitschrift besonders unter der Rubrik «Integration» behandelt.

Григорий Аросев

СТРЕМЯСЬ В БЕРЛИН

Главы из романа

М.А.

I. От бара до ночлежки

Эттингер выполз из бара, пахнущего фатальным бездельем и ленивой обречённостью, споткнулся на пороге, громко выругался на настолько причудливой смеси трёх языков, что сам с трудом себя понял, и полез в левый карман за телефоном, чтобы посмотреть, не звонил ли ему кто-нибудь, а также чтобы понять, который нынче час. Едва он разблокировал экран, как все четыре цифры полностью сменились, округлившись, как беременные подружки, до четырёх нулей. «Ну и дела», – пробормотал Эттингер, ничего особо в виду не имея – он никуда не опаздывал, его никто не ждал, да и вообще жизнь шла таким образом, что время на неё не оказывало ни малейшего влияния. Хотя чем больше мы пытаемся дистанцироваться от времени, тем сильнее от него начинаем зависеть, и это Эттингер неплохо понимал, особенно когда был трезвым. Сплошное отрицание отрицания, гнилая философия, развели тут диалектику, энгельсовщину какую-то. И тут же, будто в подтверждение своих мыслей он осознал, что поторопиться, конечно, было бы неплохо – завтра утром вылет, а во сколько именно, конечно, он понятия не имел, даже приблизительно. Может, в восемь, а может, и в половину двенадцатого. Как же узнать? Эврика: Эттингер вспомнил, что недавно отсылал текстовое сообщение, в котором писал время прилёта. Минус два часа – вот и будет ясно. Он снова разблокировал экран телефона, открыл сообщения и прочитал: «Привет! Я прилетаю завтра без пяти полдень, у нас всё в силе?» И буквально тут же телефон кратко провибрировал – пришёл ответ. «Привет, раньше не было возможности ответить. Да, в силе, сообщись по прилёту», – значилось в прилетевшей из ниоткуда весточке. Эттингер, полностью удовлетворённый минувшей

минутой, самодовольно ухмыльнулся и издал неприличный звук: выпитое давало о себе знать. Огляделся, вспоминая, куда же надо идти.

Бухарест, величественный и потрёпанный, словно Рим после нашествия варваров-коммунистов, тускловато перемигивался фонарями. Вдали высилась скульптура всадника (какой-то царь, то ли Михай, то ли Василь, а может и вовсе Константин), слева пантеоноподобно стояло здание невинной предназначённости, а прямо перед носом фырчала очередь такси. Эттингер удивился, зачем перед таким скромным баром стоять настоящей веренице неоригинально жёлтых ландо? Но вопрос тут же разрешился: оказывается, бар вплотную примыкал к отелю «Интерконтиненталь», ради которого таксисты и суетились. Впрочем, садиться в машину не было ни смысла, ни возможности – наличности на две поездки точно не хватит. Да и до ночлежки минут пятнадцать ходьбы – всего-то.

Эттингер побрёл по до сих пор безымянной, хотя уже изрядно исхоженной улице в сторону ночлежки. Вокруг никого не было, тротуар блестел, – дождь, что ли, недавно прошёл? – а вот лампы в окнах наоборот, почти не горели. Эттингер чувствовал себя как будто на луне, впрочем, конечно, он слабо представлял себе, как чувствуют себя люди на луне. Под ногами то и дело хрустели листовки с предложениями интим-услуг, на одной печати которых тут уже делались, судя по всему, колоссальные деньги. Как и всегда бывало в таких же ситуациях, Эттингер принялся рассуждать. В этот раз ему в голову пришёл Ортега-и-Гассет и его утверждение «я есть я плюс мои обстоятельства».

– Вот возьмём меня, – обратился к листовкам с предложениями интим-услуг Эттингер. – Кто я? Человек в красной куртке, синих джинсах и серых кроссовках. До отвращения неинтересно. Но меж тем, как утверждали Ортега и его знаменитый приспешник Гассет, меня формирует окружение. А окружение-то у меня, как и у всякого человека, может меняться. Сегодня я в Бухаресте, пьяный и унылый, а завтра буду совсем в другом городе, трезвый, в другом настроении, и даже, наверное, переодевшийся. Я создаю свой дазайн каждый день, экзистенция видоизменяется, и получается, что я каждый день другой... Хотя какой, к чертям, дазайн, если я говорю об Ортеге, и частично о Гассете? Хайдеггер-то тут ни при делах получается. А ну всё это к свиньям. Спать хочу.

Эттингер весело пнул банку из-под неизвестного газированного напитка и проверил, не миновал ли он нужный поворот. Сзади зашумел автомобиль, приближаясь и будто бы обдавая Эттингера клубами дыма. На мгновение ему показалось, что машина эта – злонамеренный убийца, который разгоняется, чтобы сзади врезаться в него и не дожидаясь, когда его тело, перекувырнувшись в воздухе, глухо, по-подушечьи шмякнется о

землю, уедет куда подальше, не оставляя ни малейшего шанса полиции распутать загадочное убийство.

– Вот вы только подумайте, – быстро и почти трезво забормотал Эттингер. – Жил человек спокойно, жил-поживал, никому не мешал, конструировал свою жизнь, ну да, каждый день разную, но вам-то какое дело, ведь главное в нашем вопросе – свобода, а я ничью свободу не ограничивал вообще никогда, мне хватает и собственной свободной нестабильности, непреодолимости обстоятельств, ну и зачем вам добавлять мне непреодолимости, ведь это же глупо, а вдруг завтра неопределённость рассеется, вдруг настанет момент познания, я ведь не могу ни во что верить, тут же дело такое, ненадёжное, можно лишь предполагать, что настанет момент, и ради него жить, в вечном предположении и ожидании...

Эттингер добормотал до этого слова и понял, что уже давно стоит один на улице, машина давно проехала, не тронув его, а нужный поворот он прошёл пару минут назад.

– Вот и пей после такого, – проворчал Эттингер. – Никакого ведь смысла. Сомнения усиливаются, деньги улечиваются, просветлением, как водится, не пахнет, опьянение проходит в давно и навек предписанные десять минут, а в туалет хочется всё ощутимее. Пожалуй, не буду больше пить. Jamais!

Эттингер постарался сосредоточиться на завтрашнем перелёте, прекратил бормотать и крупными шагами начал загребать дорогу, приближая к себе ночлежку – обычный хостел в центре Бухареста. Но буквально через двести метров отворилось окно и сладкий голос с первого этажа позвал его по-английски:

– Sweetheart, I'm waiting for you.

Резко затормозив, Эттингер поднял голову, но никого не увидел – из окна лился поток неприятно-чёрно-розового света, в котором тонула голова говорившей.

– Wer bist du? – спросил он по-немецки. Непонятно, почему он ответил по-немецки, наверное, уже настроился на завтрашний день.

– Ich bin dein Traum, – послушно ответила голова.

– Warum brauch ich dich?

– Alle brauchen einen Traum!

«Вот это что, тоже мои обстоятельства? И значит, тоже это – я? – задумался Эттингер. – Меня куда-то приглашают, куда – неясно, хотя, конечно, я в целом предполагаю. И что, это тоже вот так бесцеремонно становится мною? Неужели жизнь настолько уязвимая штука, что ею можно вот так легко помыкать и вертеть? Нет, нет, тут какая-то нестыковка, надо будет это обдумать на трезвую голову».

– Tut mir leid, aber ich muß mich hinlegen, – решительно сказал Эттингер. – Morgen früh fliege ich ab.

– Schlaf mit mir, – мурлыкнула чёрно-розовая голова, но Эттингер уже был далеко – шагах в десяти. Он мужественно преодолел намечающиеся обстоятельства и рывком открыл дверь ночлежки. Мгновенно пахнуло кофе, мытым полом, кошками, и ношеной одеждой. Ну и воняет, признался Эттингер, но сетовать на то, к чему уже привык, не было смысла. Эти обстоятельства уже давно стали им.

За столиком администратора активно боролась со сном румынка Флориана невнятного возраста. Эттингер, преследуя сугубо научные цели, хотел выяснить, двадцать пять ли ей или сорок, но потерпел крах, Флориана отвечала на любые вопросы, как завзятый казуист – вроде как ни разу не промолчала, но и речи вела такие, что запутался даже Эттингер, а уж его сбить с панталыку удавалось отнюдь не всем. «Ноапте буня», – буркнул он Флориане (та кивнула), направляясь в свою комнату. Там было холодно, но по крайней мере ничем не пахло. Эттингер разделся до трусов и улёгся на свою нижнюю кровать. «Этажом» выше, к счастью, никто не спал, поэтому он разложил куртку на верхней постели, нимало не заботясь, что может испачкать постельное бельё.

– Отдельно хотелось бы отметить, – пробормотал Эттингер, – что я заметил проявления казуистического поведения Флорианы именно сейчас, две недели спустя после избрания нового Папы Римского. Что это, если не преднамеренное указание? Если завтра не забуду, в интернете посмотрю, что такое пробабиллизм, могу ошибаться, но, кажется, его в манере Флорианы себя вести ещё больше.

За дверью кто-то шумно вошёл, судя по всему, девушка, потому что тут же начался оживлённый румыноязычный разговор с участием двух женских голосов – один принадлежал Флориане.

– Кстати, вот тоже забавное отрицание вероятности и условности. Какое, с позволения сказать, «завтра», если уже минут сорок как сегодня? Конечно, я могу вспомнить об этом и подлинно завтра, но планы-то другие, они связаны с фактическим сегодня. А подсознание сопротивляется и твердит про завтра.

Эттингер, уже совсем заснув, вышел в общий холл, приблизился к Флориане, перегнулся через стойку, посмотрел на неё в упор и спросил по-английски:

– Флориана, сколько вам лет?

– Вы говорили, что у вас самолёт утром. Вам вызвать такси? – ответила она.

– А я о чём вам говорил? – саркастически воскликнул Эттингер и продолжил спать.

II. От перехода до квартиры

Телефон заорал в самый неподходящий момент, когда Сара шла по переходу через Карл-Либкнехт-Штрассе. Звук был настолько внезапным, что Сара даже испугалась. Посмотрела на экран – там вибрировало и переливалось имя, которое ей немножечко надоело. Вообще-то это было даже не имя, а непонятный набор букв-звуков, которым она собственноручно (в жизни) и собственноручно (в телефоне) окрестила звонящего. Не кличка, не уменьшительное, и уж – по крайней мере в её восприятии – никак не ласкательное... Она постоянно вспоминала какого-то певца, который раньше именовался напыщенным псевдонимом «Князь», а затем принялся обложки альбомов подписывать невнятной закорючкой, для которой и слова-то не существовало, но зато в устной речи ему стали уделять гораздо больше внимания и времени, поскольку сказать иначе, как «Певец-который-раньше-назывался-Князем», было невозможно. Так и с этим: его самоназвание походило как раз на такую же закорючку, для неё ничего не обозначающую, но для владельца – очень и очень важную. Сара решительным, смелым и даже чуть заносчивым движением указательного пальца пресекла возможность столь позднего вторжения в свою жизнь чело-века-закорючки. Зато одновременно с этим Сара своими глазами увидела перемену даты и обнуление времени на телефоне, а также уведомление о непрочитанном сообщении – оказывается, оно пришло часа два назад, а она не слышала, и телефон с той поры не доставала. «Привет! Я прилетаю завтра без пяти полдень, у нас всё в силе?» – спрашивал Сару собеседник откуда-то издалека, откуда – она сама точно не помнила. Из Бухареста, что ли? Вроде бы да. Шагнув на тротуар, она мгновенно настучала ответ: «Привет, раньше не было возможности ответить. Да, в силе, сообщись по прилёту». Не очень вовремя, конечно, но теперь ничего не поделаешь. Сара привыкла, что давно планируемые (что не гарантирует их долгожданности) события всё равно оказываются не очень к месту. Спрятав телефон в сумку, Сара мыслями вернулась туда, откуда её извлёк звонок на стыке дат.

Положение её было презрительно осложнённым, в чём она винила только себя, хотя ей бы очень хотелось перекинуть неудобный мешок на кого-то другого – он мало того, что весил непонятно сколько, так ещё и лежал на одном плече, что сильно мешало. Не так легко признаваться в ошибке, особенно не себе. С собой-то что, себе сказала – и всё, так и так, мол, промах, заблуждение, ложный шаг, просчёт. А вот как это объяснить всем остальным, было решительно непонятно. Сара никогда не открывалась друзьям-подругам, предпочитая отмалчиваться и никуда не высовываться. Смысла не было, рассчитывать на полное понимание не приходилось,

а частичное ей не требовалось. Она ощущала, как её сердце понемногу превращалось в хрусталь, который только и делал, что хруп-хруп-хрупал, а потом какие-то кусочки начали отколупываться, и вроде как остаётся всё равно красиво, даже прозвенит, если ударить специальной палочкой, но с любой точки зрения это хрусталь, а не живое пульсирующее перегоняющее кровь и согревающее нечто. Саре не составило бы труда пояснить, что происходит, если бы потребовалось составить пронумерованный список. А вот в разговоре с психологом, к которому Сара уже начинала готовиться, хотя пока не было ни психолога, ни идей, где его взять (в ту же секунду промелькнула мысль о некоей подруге подруги подруги, которая, вроде, этим промышляла), ей точно пришлось бы трудно – потому что эмоционально, чувственно она была полностью опустошена. «Господи, ну и что тут – миллионы женщин в моём положении, чего я тут начинаю», – сказала Сара сама себе, переходя Вадцекштрассе, улицу поменьше, от которой до подъезда оставалось ровно минута обычным шагом.

У Сары вновь зазвонил телефон, но на сей раз это была Полин, близкая подруга, которая не могла позвонить за полночь без весомого повода. Оказалось, она потеряла кредитку – счёт заблокировать успела, а вот наличности не было ни евро.

– Одолжишь пятьдесят на неделю? – смущённо попросила Полин.

– Конечно же, – тепло ответила Сара. Она очень любила Полин, единственную из подруг, которая сама предпочитала молчать в компании, все прочие неумолчно болтали, перебивая одна другую. Когда они встречались наедине, обе заранее боялись, что придётся натужно искать темы для беседы, однако каждый раз разговор лился, как утреннее солнце в окно.

– Заеду утром, хорошо? Ты во сколько уходишь? – спросила Полин.

– Я завтра не уйду, поработаю дома. Приходи, но не раньше девяти, – ответила Сара.

– А вдруг у тебя завтра переменятся планы? Ты, пожалуйста, позвони, если всё-таки рано уедешь, я прошу тебя очень.

– Не волнуйся, дорогая!

Разговор завершился и она продолжила путь к подъезду. Три человека – завтра прилетающий отправитель сообщения, пробывавшийся, но так и не пробившийся сквозь стену коммуникативной блокировки человек-закорючка, а также милая растерянная Полин сформировали эмоциональный фон Сары. Сара никак не могла решить, о ком же ей думать, на ком сосредоточить свои мысли, острые и нахохлившиеся. На одном не было желаний, хотя потребность ощущалась очень сильно, думать о другом она не видела практической пользы, а мысли о Полин гарантировали слишком очевидное и поэтому постыдное бегство от реальности. По все-

му выходило, что лучше всего было бы выпить горячего чая, лечь в постель, просмотреть правки от заказчика (Шварценберг обещал прислать нужные страницы с курьером и положить их в почтовый ящик), немного над ними подумать, возможно – сделать какие-то пометки, и поскорее заснуть. Но Сара отлично понимала, что вместо этого скорее всего подойдёт к кухонному шкафу, достанет позабытого происхождения бутылку, нальёт вина, и не будет засыпать ещё часа два.

Телефон запиликал в третий раз. Сара неприязненно взглянула на экран, на сей раз там светился незнакомый номер. Обычно Сара на такие звонки откликалась фамилией (Хампе; к этой фамилии, несмотря на пятнадцатилетие совместной с ней жизни, она так и не привыкла, и не боялась её произносить в присутствии незнакомых; останься у Сары её девичья фамилия, отвечать по телефону таким же образом ей было бы затруднительно), но сейчас ею овладело элементарное неконтролируемое раздражение, и она крикнула в трубку простое: «Да!»

– Ты не спишь, дорогая? – спросил голос явно немолодого человека.

– Я не сплю, но вы ошиблись номером.

– Вполне может быть, – согласился голос. – Я набирал в темноте и легко мог перепутать пару цифр. Меня зовут Ральф.

– До свидания!

– Подождите! – воскликнул Ральф. Сара зачем-то повиновалась. – Скажите, у вас есть на завтра планы?

– Конечно, и знакомство с вами в них не входит! – резко отрезала Сара.

– Да какое знакомство... Я же о другом!

– О чём?

– Вот есть у вас планы... А завтра всё вжик – и пойдёт по-другому.

Понимаете, не так, как вы хотели.

– Может, будет и так. Кто же знает.

– Никто, в том-то и беда. Никто.

– Почему это вас тревожит... – успела проговорить Сара прежде чем поняла, что Ральф уже повесил трубку.

«Видали мы таких гнилых философов», – ворчала Сара, преодолевая последний, совсем маленький перекрёсток. Дом уже ощущался едва ли не обонянием, родной дом, Сара так по нему скучала каждый вечер. У подъезда стояла и курила фрау Никерт, худящая огненно-рыжая соседка неопределяемого возраста, ей можно было дать от сорока пяти до семидесяти. Вокруг неё вился, переминаясь с лапы на лапу, смешной пёс.

– Добрый вечер! Поздновато молодая фрау возвращается домой, – с подозрением, но ироничным сказала Никерт. Сразу же за этим она по-доброму улыбнулась. Сара, конечно, близко с ней не общались, дружить с соседями

вообще дело странное, хотя от своей бабушки Сара давным-давно слышала, как они в тридцатые годы где-то далеко жили в огромной квартире девятью семьями, и как уж тут не пригласить – тут либо война, либо приязнь. Но тёплые чувства к Никерт Сара вполне испытывала, как минимум из-за того, что та постоянно получала за неё почту, привозимую курьерами (соседка сидела дома почти постоянно, а их кнопки звонков находились рядом). Были и другие причины. Пару раз Сара, благодаря за посылки, приходила к соседке с бутылочкой вина, и они очень мило болтали. Никерт же симпатизировала Саре из-за её нескончаемой молодости, трогательной худобы и улыбки. В этом рыжеволосая немка ничем не отличалась от мужчин Сары. Каждый из них видел в ней исключительно эти три качества, и каждый считал, что, так к ней относясь, делает ей большое одолжение. Особенно этот...

– Я ходила на танцы, это на Вольгаштрассе, а потом мы посидели с подружками за бокальчиком вина, – зачем-то объяснила Сара. Никерт снова улыбнулась.

– Если вам хотелось потанцевать и посидеть за вином – это самое главное.

– Конечно, мне этого хотелось, – удивлённо сказала Сара.

– Я имею в виду, – Никерт зажгла новую сигарету, – что делать вообще надо только то, чего хочется. Кто его знает, что будет завтра – вдруг уже не будет возможности потанцевать и попить вина?

«Да что ж вы все мне про завтра-то твердите?» – удивилась Сара, но вслух ничего не сказала.

– А что, завтра могут принять закон о запрете танцев и вина? – в шутку, но с серьёзной миной спросила Сара.

– Кто его знает, – повторила Никерт.

– А разве так поздно надо выгуливать собак? – Сара решила сменить тему.

– Нет, просто не спится мне, вот я и решила немного освежиться, а этот (она небрежно пнула носком ботинка пса под бок, впрочем, совсем легонечко, и тот не обиделся) увязался за мной.

– Басти, Басти, – позвала Сара. Пёс поднял голову и, как ей показалось, радостно улыбнулся.

– Бусты, – поправила Никерт.

– О, а ведь и правда. Всё-то я перепутала. Ну, я пойду, а то уже поздно.

– Я ещё покурю. До свидания, фрау Хампе, доброй ночи.

– Доброй ночи, фразу Никерт.

Сара зашла в подъезд и повернула налево к почтовому ящику, но соседка тут же засигналила руками, призывая её вернуться. Сара открыла дверь, однако выходить не стала, встав на пороге.

– Да?

– И помните: несмотря ни на что – вы существуете! – загадочно выра-

зились Никерт, с напором произнося последнее слово. Ничего не поняв, Сара улыбнулась и молча пошла к лифту.

«Непонятные разговоры сегодня со мной все ведут. Для полного счастья не хватало только получить какое-нибудь странное письмо... Письмо...» – думала Сара, поднимаясь на свой шестой этаж и с неудовольствием осознавая, что из-за последней реплики Никерт она так и не проверила почтовый ящик. Пришлось возвращаться. Соседка ещё стояла на улице, но уже протягивала руку с ключами к замку. Сара вытащила почту, Никерт и Бусты зашли внутрь и они все вместе двинулись к лифту.

– Хотела в эту секунду уже лежать в кровати, а пришлось возвращаться – почту забыла, – шутливо пожаловалась Сара.

– Я же вам говорила – кто его знает, что будет дальше.

– Но ведь я из-за вас забыла взять почту, я уже была у ящика, но вы меня позвали и я забыла о письмах.

– Значит, я повлияла на вашу жизнь. Хотя бы в такой степени, минимальной.

Саре последняя фраза совсем не понравилась, и она больше ничего не сказала – выходя на своём этаже, она лишь кивнула Никерт головой и пару раз чмокнула губами в адрес Бусты. Свет на лестнице почему-то не зажёгся, дверь пришлось отпирать в темноте. Она вошла в свою огромную квартиру, площадью семьдесят семь квадратных метров, совершенно непропорциональную её телосложению, характеру, пожеланиям и потребностям. Мгновенно в тело, сердце и мозг Сары проникла настолько всепоглощающая усталость, что она бросила в коридоре полученную почту и сумку, там же разделась донага, и, даже не вымыв руки, шатаясь, пробралась в ближнюю из трёх комнат, легла на диван, укрылась пледом и мгновенно уснула.

Семён Гринберг

* * *

Есть многих птиц заветные места,
Куда они летят, Россию покидая,
Всё гуси-лебеди от края и до края,
Я стал считать и досчитал до ста.

Про это же рассказывал сосед,
Который был земляк и мой, и этих уток,
Мы жили, где Почтамт и Чистые пруды,
И было нам тогда ещё совсем немного лет.
Хлебнувши газированной воды,
Я пил её в любое время суток.

* * *

Сегодня день, и завтра, и в четверг,
Не отличить, который ближе к телу.
На днях один знакомый Розенберг
Посетовал: «Сажают не по делу».
Я постоял, послушал и пошел.
Понятно, кто лицом не подошел,
Это, когда клиент не вышел рожей.
– А, если вышел рожей, но не той?
– Я кожей, кожей чувствую!
– Вы тоже?
– Нет, я не при делах, я понятой.

Что говорить, красивы вечера,
И упоительны на Яузе закаты,
Сходящие с небес на эту глухомань.

На трейлер, со двора ползущий за ворота,
На люд, поблизости от Богородских бань.

* * *

«Давным-давно, когда я, скажем, жил в Китае,
В дни похорон усатого вождя...»
Он помолчал, как бы припоминая,
И продолжал, немного погодя.
Мы слушали его, не отрываясь,
А он рассказывал, что был заметно мал,
Когда отправился, «ничуть не сумлеваясь,
На жмурика глядеть в Колонный зал».

Конечно, не в Китае, а в России,
Он пёр туда за совесть и за страх,
И был раздавлен без анестезии
Недалеко от Троицы в Листах.

Про этот Пурим русского злодея
Вовсю тогда судачила молва.
Потом его сложили в мавзолее...
Как всё ж таки волнительны слова –
Россия, Лета, Лорелея!

* * *

Вечерней улицей, теряющей цвета,
Еще не спящей, но уже печальной,
Где возле полицейского поста
Не тополь – кипарис пирамидальный,
Прохожих освещают машинально
Автобусы – ночные поезда.

За пустырем клубящихся кустов
Подъезды и бегущая ограда,
Над коей пена яблочного сада,
Свечение неведомых плодов,
Ветвей, теней, чуть не исчадий ада.

Не выхватил, извлек из темноты
Черты лица, слова из разговора –
Осколки отходящей суеты,
И ветерок, лихой об эту пору,
Помешивает падшие листья.

* * *

Аллея осени, совсем как Левитана,
Ведёт до самой улицы Шломо.
Два бегуна, два толстяка сумо
Бегут и упадают у фонтана –
Один, ступив на кожуру банана,
Другой на упаковку эскимо.

Так начинал сценарий для кино
Известный мастер, крупное светило,
Хоть дни побед прошли давным-давно,
Как говорится, всё, что было, сплыло –
Комедия про, что на целине происходило,
Или как партизан взорвал немецкий штаб,
А тут и самому не слишком подфартило –
Под новый год его пришил араб.

* * *

Дождь пробежал и сгинул сам собой,
Метнулся кот, задравши хвост трубой,
И как всегда водицы маловато.
Такой, сказать, засушливый денек,
И за окошком трепетный флажок
Голубоватый.

А вот, когда гуртом или гурьбой,
Живал Иосиф, рыжий и рябой,
Его любили целые полмира.
От Сержа Кирова, поди-ка, с давних пор,
Покуривал «Герцоговину Флор»,
А убиенный папирасы «Ира».

Что говорить, лет пятьдесят назад,
Клиент табачной фабрики «Дукат»
К десятку сигарет из рыжей пачки,
Слегка помедлив, присовокупил
Флакон так называемых чернил,
Добавив два червонца из заначки.

* * *

В Музеон Израэль на одной из картин,
Где французскими буквами – Хаим Сути'н,
А по-русски читается С'утин,
Намалёвана красная туша быка,
А вокруг неё, я бы сказал, облака,
Словом, замысел Хаима смутен.

В этот пасмурный день было всё не по мне.
Ненароком подслушав чужой разговор,
Где один говорил не они, а оне,
А другой не её, а ея,
Я стоял и глядел на картину в упор
И не понял вообще ничего.

Мне б уйти хоть куда, хоть в нечаянный сад,
Где людей никого, и животные спят,
И деревья стоят при луне.

Сколько слов я бы мог не слышать, не сказать
У цветного пятна на стене.

* * *

И были облака, и гром гремел из туч.
С Исаком Бабелем переходили Збруч
У Сретенских ворот у памятника бабы.
Ещё там был известный «Букинист».
Теперь я далеко от этих мест,
Спасибо, Крупская припомнилась хотя бы.

Да, мало ли кого забыли на Руси!
Сегодня у кого бы ни спроси,
Всё больше Михалков, Есенин, даже Быков.
Мне говорил знакомый меломан
Про Битлов, про «Сиреневый туман»,
А под конец исполнил «Гоп со смыком».

О, Русь! Скажи, жена иль не жена?
Вопросов всё же полная сума.
И чья жена? Какого-нибудь Блока.
Или совсем другому отдана?
А был ли мальчик-то у Клима Самгина?
Зато грядёт великий свет с востока.

* * *

Поначалу казалось, пребудет жара,
Как всегда до суккота не ждали дождей,
Но вчерашний прогноз повторили с утра,
И потом говорили не раз.
И немедля зонтами накрыло людей,
Что, быть может, в Европе в порядке вещей,
Но отнюдь не у нас.

А в каньоне под буквами разных цветов,
Поминала погоду хозяйка цветов,
И букет составляла из роз и травы,
Для совсем ещё новой вдовы,
У которой лицо как неправильный круг,
И всего только пара опущенных рук,
Да косынка вокруг головы.

* * *

Вообще, вы будете смеяться,
Но демон был и у меня.
Он походил на тунеядца,
Весёлый, пальчиком маня,

Он, что ни день, давал советы,
Такого типа, например:
«Любите живопись, поэты!»
И звал синицу – зензивер.

И говорил не «есть», а «кушать»,
«ОблЕгчить», а не «облегчИть»
И мог зашедшего послушать,
Что называют, залечить.
Он толковал об Ювенале,
А то про женщину в песках
И на качающемся стуле
Сидел в сандалях и носках.

* * *

Скамейка на пути в Неве-Яко'в.
Отсель видны дворец Ярденской королевы
И небо синее над ним и сквозь него.
Там птицы дикие заместо облаков
Пересекаются направо и налево
И больше ничего.

Воистину, за исключеньем неба,
Всё остальное было на земле.
Шёл господин, жуя краюху хлеба,
Баранина пеклась на вертеле

И русские излишне суетливо
Несли флакон заморского разлива.

И он меж нами жил, пока не отошел.
Мы жили на холмах, кругом росли оливы,
Здесь пес, родимый наш, все камни обошел.

* * *

Вдоль ограждения бензоколонки
(Навстречу, кто в Хеврон, Бейт Лехем ли на Рождество)
Иду себе опавшею листвою,

Когда приблизилось лицо благородной негритянки
С пучком над головой.
Кто краше женщины всегда темноволосой,
Напомнившей цветок?
Шоссе перебегают овцы
Движеньями похожих ног.
Слов не достанет, рассказать, куда иду за ними
Туда ли, где бывал и был,
Пил воду, чистил апельсины,
И между дольками и долями чужими
Искал свою и находил.

* * *

Из Белоомута автобус по пути
До самой Ждановской, скажу, такая скука.
Одна отрада осенью – сойти
В Непецино, купить косицу лука.

А в электричке сразу задремать.
Проклунешься ещё до шума городского.
Да, что рассказывать, что, нового такого?
Всё те же Кратово, Ильинская, Красково...
Я их пообещал не забывать.

И завтрак на траве, и дом, и палисад,
И ту же суматоху на перроне,
И всякие слова, что люди говорят,
И плавающий перчик в самогоне.

Сергей Кулаков

ИНДИЙСКИЕ ФАНСИГАРЫ, ИЛИ ЗАГАДОЧНАЯ СЕКТА УБИЙЦ.

В 1816 году колониальные английские войска, расположенные в Мадрасе, захватили нескольких местных жителей по подозрению в убийстве и ограблении путешественников и паломников. Доктор Роберт Шервуд, следивший за состоянием здоровья находившихся под следствием, склонил некоторых разбойников к разговору об их верованиях. Его статья «Об убийцах, называемых фансигарами» появилась в журнале «Азиатские Исследования» в 1820 году, вызвав некоторое волнение.

Тревожит воображение и заставляет останавливаться в жилах кровь, история о пропаже супруги полковника W. в 1825 г., сразу после прибытия её к берегам Индии. К месту службы полковника, в отдаленном штате, англичане не успели ещё проложить железную дорогу, и леди К. пришлось добираться в обыкновенной повозке, в сопровождении пяти офицеров кавалерии Её Величества. Сопровождал их местный проводник. Путь пролегал по довольно дикой местности. Добираться до гарнизона предстояло несколько дней.

Когда женщина и сопровождавшие её офицеры не прибыли в расположение гарнизона в назначенный день, полковник W. выслал навстречу вооруженный отряд. Командир отряда впоследствии рассказывал, что они обнаружили посреди леса пустую повозку и английскую саблю. Внимательно осмотрев окрестности, обнаружили неподалеку небольшой холмик свежевыкопанной земли, под которой покоилась ужасная находка: шесть обнаженных трупов. Женщина была среди них. Тела проводника не обнаружили, из чего сделали вывод о его соучастии в этом злодеянии. Все несчастные были задушены. Одежду убитых, багаж супруги полковника, оружие и лошадей злодеи забрали с собой.

Получив трагические известия, полковник W., терзаемый горем и желанием восстановить справедливость, поступил следующим образом: он захватил в плен князька окрестных земель. Вельможу никто не притес-

нял, ему оказывали соответствующие почести, но из гарнизона никуда не отпускали. Полковник объявил радже: он получит свободу после того, как выдаст убийц. Индийский князь, едва узнав, что жертвы задушены, а одежда их пропала, сразу указал: это – дело рук тугов, служителей богини Кали. Некоторые скептики усматривают ряд несоответствий, присутствующих в этой истории. Но, даже если убрать смущающие их детали, разве само убийство покажется менее ужасным?

Итак, вполне можно провести знак равенства между фансигарами, описанными д-ром Р. Шервудом и тугами, о которых упоминал плененный индийский князь. Как выяснилось впоследствии, так оно и было: речь шла о древней секте убийц-душителей («phanci» значит «петля»), или их ещё называли убийцами-обманщиками («thug» значит «мошенник»). Ведь, словно актеры играли они разные роли, прикидываясь то паломниками, то купцами, то путешествующими торговцами, то несправедливо обиженными или же – попавшими в бедствие, завлекая выбранную жертву в условленное место, где её поджидал исполнитель.

Д-р Шервуд утверждал: душители совершали убийства, побуждаемые чувством религиозного долга, их целью было именно убийство, а не сопутствующее ограбление. Впрочем, многое в поведении, иерархии, психологическом портрете этих фансигаров, оставалось для д-ра Шервуда туманным, загадочным и неясным. Однако, на фоне полного неведения европейцев о таинственных индийских фансигарах, сведения, которые удалось раздобыть д-ру Шервуду, буквально потрясли воображение жителей просвещенной Европы.

Вскоре открылось, что Роберт Шервуд не был первооткрывателем в этой области. За два столетия до него французский путешественник Тевено, жаловался в письмах: «все дороги от Дели до Агры кишат промышленными убийством...» Особо отмечал француз зловещий трюк, к которому часто прибегали эти обманщики. Они отправляли пригожих молодых женщин, чтобы те горько плакали и причитали у дорог, вызывая жалость у проезжающих, после чего печальные красавицы завлекали путников в ловушку, где их безжалостно душили с помощью ритуального платка-румаля (желтой шелковой ленты, к которой с одного конца привязывалась серебряная монета достоинством в рупию). Но и француз не был первым, кто узнал о душителях-фансигарах. Первые свидетельства были найдены в записках китайского путешественника VII века Сюань Цзяня... Из этого становится понятным: обсуждение данной, щепетильной темы долго находилось под запретом.

Всё это выяснилось позже, а поначалу душители действовали настолько таинственно, что завоеватели Британской Индии ни о чем не догады-

вались. Неопределенные подозрения появились в начале XIX века. Затем была статья д-ра Шервуда, заставившая колонизаторов встрепенуться и внимательно осмотреться. Тогда некоторые проникательные англичане, волею службы вынужденные соприкасаться с местным населением, начали понимать: фансигары не были плодом воображения впечатлительного доктора Шервуда, но – ужасающей реальностью. Масштабы деяний этих злодеев (о которых слышали прежде лишь редкие европейцы), открывались с каждым годом, потрясая умы и вселяя тревогу.

Дороги стали представлять серьезную опасность для купцов, путешественников, паломников, служащих Ост-Индской компании, христианских миссионеров, простых людей. Нельзя было чувствовать себя в безопасности, отправляясь в путь, ни одинокому путнику, ни несколькими путешественникам, ни большим группам паломников. Злодеяния душителей-фансигаров стали настолько масштабными, что колониальные власти были вынуждены приступить к карательным операциям. Но, разве можно воевать с врагом, которого ты не знаешь, не видишь, не можешь различить, и который даже не собирается воевать с тобой? Эти операции напоминали стрельбу из пушек по воробьям; по крайней мере, эффективность их можно было сравнить с подобными акциями. Фансигары неприметно жили в деревнях, выполняя свои общественные и гражданские обязанности, не вызывая никаких нареканий, но, едва наступали осенние месяцы – обыкновенно сразу после сезона дождей – они выходили на дороги, безжалостно убивая путешественников, и особенно заботясь о том, чтобы совершить убийство подальше от своего дома, дабы не навлечь подозрений. Душителю никогда не оставляли в живых свидетелей, поэтому уничтожали даже собак, обезьян и других животных, принадлежавших жертве.

Поначалу британцы пытались заручиться помощью местного населения, но никто, даже под угрозой применения пытки, не соглашался помочь. Скоро выяснилось: люди до ужаса боялись душителей, а молчанием надеялись отвести от себя месть со стороны жестоких убийц. Успеха добился армейский офицер Уильям Слимен, установивший наблюдение у храмов зловещей индийской богине Кали. Результатом стали аресты мужчин, которые периодически приносили в храмы одежду и ценные вещи. В большинстве случаев это были зрелые, уважаемые в общине люди. В их домах произвели обыски. Помимо прочих вещей, в тайниках обнаружили европейскую одежду (которую индусы не соглашались носить), фрагменты военной формы и амуниции английских военнослужащих, иногда желтый шелковый платок, а также серебряную мотыгу и небольшую скульптуру многорукой индийской богини, с

высунутым до подбородка языком, и ожерельем из человеческих голов на груди...

Уильям Генри Слимен имел чин капитана Британской армии. Он служил в Индии с 1809 года. Когда «Азиатские Исследования» опубликовали статью д-ра Шервуда, мало сказать, что она поразила Уильяма Слимена – он был восхищен ею, и, не медля, начал исследовать деятельность разбойников-душителей по месту своей службы – на землях Нербудда. Год за годом изучая преступную деятельность фансигаров, он не получил никакого одобрения от начальства, а равно и поддержки со стороны сослуживцев. Да и местные князьки всячески пытались мешать его работе, по причине, которую У. Слимен установил позже. Но капитан Слимен не опустил рук, не отчаялся, не прекратил своей деятельности, в которой выступал более в роли энтузиаста, чем человека, усилия которого необходимы и востребованы. Этим героическим усилием, с которыми восемь лет он сражался почти один на один с фансигарами, не суждено было пропасть. Помимо многочисленных рапортов и донесений начальству, с подробным описанием деятельности банд душителей, а также с предлагаемыми им методами и способами противостоять убийцам, капитан У. Слимен опубликовал несколько статей, посвященных фансигарам (или тугам), в которых предпринял смелые попытки проникнуть вглубь сознания и психологии жестоких душегубов. Открытия, сделанные им, вызвали сенсацию. Капитан Слимен выяснил: туги были не мелкой религиозной сектой, а повсеместной, чудовищной организацией, которая лишала жизни тысячи людей ежегодно. Уильям Слимен был первым из европейцев, кто обнаружил религиозную природу страшной деятельности фансигаров: убийства были для них ничем иным, как жертвоприношениями, совершавшимися в честь темной богини Кали. Многие высокопоставленные индусы в этой преступной деятельности выступали заказчиками убийств, покровителями банд, скупщиками имущества жертв, да и среди исполнителей находилось немало состоятельных людей, занимающих ответственные должности. Из-за глубокой религиозности, члены секты, как правило, были людьми честными, доброжелательными, надежными, и находящимися вне всяких подозрений.

Так, один старик, служа в британской семье наставником ребенка, заботился о своем подопечном с большой нежностью. Он был очень покладистым, спокойным, тихим. Лишь раз в году, в определенный месяц, просил разрешения уехать, чтобы навестить больную мать. Когда люди капитана Слимена арестовали старика-индуса, родители мальчика с ужасом узнали, что под их кровом жил самый настоящий убийца, задушивший не один десяток людей...

Успехи Уильяма Слимена, обеспечили ему признание в данном вопросе экспертом. В 1830 году генерал-губернатор Индии, лорд Уильям Кавендиш-Бентинк, назначил капитана У. Слимена ответственным за искоренение душителей, выделив ему 17 ассистентов и до 100 сотрудников. Это было признанием заслуг талантливого энтузиаста, но, было это и признанием чрезвычайной опасности, которую, наконец, разглядела в деятельности фансигаров, британская колониальная администрация. Воодушевленный назначением, капитан Слимен с удвоенной энергией принялся за дело.

Открывшиеся темные глубины преступного ремесла тугов-фансигаров, невероятные масштабы их деятельности, поразили сначала группу капитана Слимена, затем – воображение английских колонизаторов, а впоследствии – остальных европейцев, которые не могли даже помыслить, что ритуальная бойня может иметь такие повсеместные и ужасающие масштабы.

В 1836 г. в Калькутте издали книгу, в которой была предпринята попытка систематизировать данные, собранные капитаном Слименом о деятельности индийских фансигаров за 15 лет. В книгу вошли словарь, грамматика тугов, также были детально описаны разработанный порядок действий и распределение ролей, действующие в отряде душителей, ибо, к тому времени стало совершенно очевидно: адепты зловещей богини, действуют не мелкими группами, а довольно большими отрядами хорошо подготовленных и организованных убийц.

Всё начиналось с выбора жертвы. Она была не случайна. Приказы шли от махараджи, от князей или других влиятельных лиц. Иногда информация о жертве приходила к руководителю отряда убийц во сне или во время употребления священного сахара «причастия» (гура), напрямую от темной матери (разумеется, речь шла о кровожадной богине Кали).

Если «заказчик» или «темная мать» молчали, подготовка проходила по стандартному сценарию: разбив лагерь возле городка или деревни, расположенных у крупной дороги – направляли разведчиков бродить по улицам и посещать лавки. Они завязывали знакомство с группами паломников или путешественников, и под предлогами подстерегающих опасностей, предлагали продолжить путь вместе. Если бедняги соглашались, ничто не могло спасти их от гибели.

Во время смертельной охоты соблюдалось множество правил и запретов. Отсрочить, (но не предотвратить!) задуманное убийство могло лишь суеверие тугов, избобличающее в них неумный фанатизм. Перед выходом непременно совершалась молитва. Если перед храмом видели корову, во множестве слоняющихся по улицам индийских деревень и городов, или если убийцам встречалась похоронная процессия, задуманное отклады-

валось. Потерянный тюрбан мог привести к неприятностям. Встреча с шакалом предвещала кандалы и тюрьму. Перед походом бросали в воздух топор: в какую сторону, при падении, указывало топорщице, туда и отправлялись убийцы. Животное, перебегающее с левой стороны на правую, сулило беду. Запрещалось душить прокаженных, косых, хромых, да и, вообще, физически ущербных, а также прачек и представителей некоторых каст, которым оказывала покровительство богиня Кали. Женщин не убивали в том только случае, если они путешествовали в одиночку, без мужчины, что, конечно же, было редкостью. Убийство детей допускалось в равной степени с взрослыми, без всяких оговорок.

Лучшими днями для фансигаров считались среда или четверг, но – ни в коем случае – не пятница. Услышать крик осла – означало удачу. К началу расправы над людьми, которые доверчиво принимали убийц за таких же паломников или путешествующих, служил условный знак главаря отряда. Это мог быть крик совы – священной птицы богини Кали, или молитвенный взгляд, обращенный к небесам, вместе с простой фразой, сказанной зачастую самым обычным голосом, например: «посмотри, какие красивые на небе звезды!»

После условного сигнала, остальные отвлекали жертву, а исполнитель заходил за спину и ловким броском румяля обвивал шею несчастного. Если тот начинал сопротивляться, фансигары удерживали руки и ноги жертвы, предоставляя исполнителю беспрепятственно довести работу до конца. В церемонию жертвоприношения входили похороны: удушенного обшаривали, раздевали, делали на теле несколько глубоких порезов (чтобы Кали было удобнее пить кровь), после этого тело закапывали. В Индии покойников принято сжигать, стало быть, именно преданные земле, предназначались ужасной богине.

Фансигаров нельзя считать разбойниками в том смысле, как мы обыкновенно понимаем. Они убивали людей не ради добычи. Свои жертвы, в соответствии с тщательно разработанным ритуалом, они посвящали страшной богине, а от добычи не отказывались и собирали её для подношения в храмы, посвященные Кали. Служитель Кали не имел права оставлять себе ничего из имущества жертвы, за исключением серебряных вещей и украшений. Уличенный в сокрытии, разделял участь жертвы. Большую часть награбленного продавали ростовщикам. Вырученные деньги главари отрядов убийц вносили на строительство храмов злоеющей богине, делились с князьями областей, и, разумеется, присваивали – очень прибыльное дело, при минимальных затратах и серьезной политической поддержке!

Членство в секте было тайным. Даже близкие туга не знали, чем он за-

нимается. При посвящении новичку вручалась ритуальная мотыга «зуб Кали» (для погребения тел). В завершении посвящения он вкушал священную пищу – специальным образом вываренный, на опиумном маке, конопле и других наркотических травах, сахар. Служителем темной богини мог стать как индус, так и мусульманин. Некоторые мусульмане вели родословные от знаменитых ассасинов, перебравшихся в Индию после разгрома их ордена, и нашедших в тайной секте душителей, столь близкие для себя идеи тотальных убийств и террора.

Фансигары почитали темную богиню, но более почитали они свой заступ, который считался «священнее Корана и вод Ганга». Туг не мог нарушить свою клятву, не поплатившись за это жизнью, причем в самое короткое время. Если член секты признавался в причастности к фансигарам, он также подлежал удушению, причем собственным румалем, который потом сжигали. Иногда попавшиеся душители давали ложные показания против людей, считая, что, таким образом, продолжают жертвоприношения, потому как казнили фансигаров через повешенье.

Работа, проводимая капитаном Слименом и его подразделением, продвигалась очень медленно. Всевозможные препоны, с которыми им приходилось сталкиваться, недвусмысленно указывали, насколько все общество в индийской колонии было поражено этой болезнью. К 1827 году арестовали всего лишь 300 душителей. К концу 1832 года, еще 389, из которых, по приговору суда, были казнены 126 человек, а остальные – приговорены к пожизненному заключению. В общей сложности капитану Слимену удалось добиться осуждения более 3000 фансигаров. Большинство осужденных встречали смерть с удивительной храбростью, но, сколько их оставалось на свободе! А ведь каждый из них, за свою зловещую «карьеру», убивал около 200 человек; стало быть, общее количество поражало воображение. Впрочем, реальные цифры вряд ли когда-либо будут известны.

В 1876 году Индию посетил будущий английский король Эдуард VII. К этому времени преступления душителей пошли на убыль. В тюрьме Лахора, принц Уэльский беседовал с фансигаром. Заключенный без всякого волнения рассказал, что его жертвами стали 150 человек. Преступник, повешенный в Лакхнау в 1825 году, признался в удушении шестисот человек. Но всех превзошел некий Бихрам, который собственноручно задушил более 900 человек! за 50 лет своей ужасной «работы». Этот злодей и в старости выделялся ростом, телосложением и остатками когда-то могучей силы...

В рапортах, донесениях или публикациях, капитан Уильям Слимен подчеркивал, что эти чудовища в человеческом облике, имели, словно демоны из их религиозной мифологии, непреодолимое и ужасное вле-

чение к убийству. Для подавляющего большинства фансигаров, потребность выслеживать, заманивать в ловушки, а затем душить людей, стала неистребимой привычкой, увлекательной и желанной игрой. В конце концов, капитан Слимен пришел к выводу, что для фансигаров убийство было творческим актом, который так жутко извратило их сознание зараженное религиозным фанатизмом. Этот ужасающий творческий акт воспринимался ими, как особая привилегия, и приносил злодеям глубокое удовлетворение.

Некий священник Чарльз Броди, пытался убедить одного осужденного на смерть, за свои ужасные преступления, одуматься, принести покаяние и примириться с Господом и душами убитых им людей. Но, пожилой фансигар искренне удивился словам священника. Он уверял отца Броди, что никогда не преследовал никакой выгоды, а лишь исполнял божественную миссию, получая повеления на убийства от самой богини Кали. Поэтому никакого покаяния не требуется, ибо ему уже уготовано место на небесах, куда он готов был отправиться немедленно. Еще, этот религиозный фанатик, поведал священнику впечатляющий миф о происхождении своего «ремесла». Вот он:

Когда армия Зла, возглавляемая демоном Рактабиджей, вышла из-под земли, она стала уничтожать все живые существа на своем пути. Тогда Святые и Пророки обратились за помощью к Шиве, но бог, погруженный в медитацию, не услышал их. За них вступилась богиня Парвати, жена Шивы. Из нее выплеснулась ярость в виде богини Кали (известной ещё под именем Бхавани). Богиня имела четыре руки и темный, ужасающий облик: длинный, красный язык алчно облизывал губы в предвкушении крови демонов.

Кали разрубала и разрывала демонов сотнями, но как только она отсекала голову их предводителю Рактабидже, из упавших капель его крови, вновь возникали демоны. Во время боя богиня Кали обтирала пот и кровь, стекающие с лица, головной повязкой – румалем. Из капель пота богини появилось два человека. Им Кали передала румаль, приказав задушить демона, не проливая крови. Остальным врагам богиня мгновенно отрубила головы, слизывая длинным своим языком кровь. Воинам, которые помогли ей, после сражения она отдала в награду румаль, повелев убивать и людей путем удушения (для поклонения в ее честь). Так появились туги или фансигары. Черная мать Кали наделила их силой, коварством, ловкостью. Она научила их готовить священный сахар, научила священным мантрам, произнося которые, верные ей служители укрепляют свой дух и веру, и именно они, фансигары, сдерживают силы Зла.

Отец Броди выслушал этот рассказ со всем вниманием. Когда душитель закончил – после некоторого раздумья – так ответил ему: «Убивший демона не покорностью к Господу, не исполнением Его требований к чадам Своим, не готовностью к жертвенности (подобно Христу), сам занимает место убитого им демона...»

Последний осужденный фансигар был повешен в пенджабской тюрьме в 1882 году. Однако, вряд ли столь обширное и древнее общество убийц могло исчезнуть окончательно...

Один из плененных фансигаров рассказывал: «Любой человек, однажды попробовавший священный сахар, последует за богиней Кали, даже если он знает все ремесла, даже если он владеет всеми богатствами мира».

Максим Дубаев

ЗЕРКАЛА

Отражение 1.

Восходит солнце, как слеза
На каменном лице.
У дома выбиты глаза –
Осколки на крыльце.
И распростертых на земле
Не удивит теперь,
Что на единственной петле
Висит качаясь дверь,
Что даль зияет с двух сторон,
Бессмысленно пуста,
В стене, пробитой как ладонь
Распятого Христа.

Пасутся призраки любви
На пастбищах смертей.
О, господи, останови,
Останови людей!
Летит песок в стенную щель –
И никого вокруг...
Качает ветер колыбель,
Поскрипывает крюк...

РЕФРЕН:

Без смысла дождь,
Без смысла снег,
Без смысла тишина...
И этот мертвый человек,

И мертвая жена...
И эта мертвая стена,
И мертвый ключ в замке...
 О, будь ты проклята, война,
 На каждом языке!

Отражение 2.

Ах, какую ты цену заломил, судьба!
На осенней дороге дерев голытьба,
На осенней дороге моя маета,
На осенней дороге дождей суета.

Чей-то след на дорогах смывает вода,
На забытых порогах растет лебеда,
На забытых могилах сидит воронье –
Из зрачков опостылых течет забытье.

У кого мне узнать, у кого расспросить,
Как же мне эту серую даль одолеть?

Я боюсь разучиться и петь, и любить.
Я боюсь разучиться прощать и жалеть.

Ах, какую ты цену заломил, судьба!
На нелегкой дороге потерь и утрат,
Проступившие звезды стекают со лба
И последние листья с ладони летят.

РЕФРЕН:

Отражение 3.

Голодная даль гололеда.
Ознобная зона зимы.
Пустынная волчья свобода. –
Прозрачные стены тюрьмы.

Не видно замков и решеток,
Но только закроешь глаза –

Как вырвется голос из глоток,
Что этого делать нельзя.

Нельзя и подумать об этом,
Что свет переходит во мглу –
Цитаты из книги запретов
Распяты на каждом углу.

Не слышно шагов и бряцанья
Тяжелых как время ключей,
Но уши закрой, и в молчанье
Послышится стон кирпичей.

Глазок – смотровое оконце,
И кровь, словно капля зари.
Не знает проталина солнца,
Что заперты мы изнутри.

РЕФРЕН:

Отражение 4.

Время сгорает в глазах –
В них то рассвет,
То закат.
Сыпется пепел из глаз,
Тропы свои выстилая.

Может быть я виноват...
В том же, в чем ты виноват...
В том же, в чем он виноват...
Разве я знаю?!

Справа
Из пепла тропа...
Слева
Из пепла тропа...
Посередине – толпа.
Годы хрустят под ногами.

Правда смеется твоя...
Правда рыдает моя...
Правда – бесспорна,
Но чья?
Истины нет между нами.

Все ведь мы были детьми...
Стать нам хотелось людьми –
Ты оглянись и пойми
Трудно ли это, легко ли?

Сыпется пепел из глаз...
День мой еще не погас
Кто-то напутствует нас...
Сам-то ушел далеко ли?

Что ж ты растерянный век,
В черный уставился снег?
Кто-то из нас – человек,
Быть и не может иначе.

Это пойдем мы потом...
Черные слезы утрем,
С тихих берез подберем
Ясные слезы удачи.

Может быть я виноват...
В том же, в чем ты виноват...
В том же, в чем он виноват...
Разве я знаю?!

РЕФРЕН:

Отражение 5.

Кукуй, кукушка, не молчи,
Кукуй, кукушка.
Зола в умолкнувшей печи,
В слезах подушка.
Над полем, где прошлась война –
Лишь струйка дыма.

Кукуй, кукушка, тишина –
Невыносима.
Среди погибших сына нет,
Молчат живые,
Молчат засыпавшие след
Передовые.

Не знает горькая полынь,
Где сын-сыночек...
Кукуй, кукушка, хоть накинь
Еще годочек.

Мерцает солнце, как блесна,
Что он закинул.
Ни похоронки, ни письма –
Ушел и сгинул.

Да что кукушка – нет ее,
В ней толку мало,
Она давно уже свое
Откуковала.

Неистошимый дождь идет,
И даль тоскует.
А сердце матери все ждет
И все кукует.

РЕФРЕН:

Отражение 6.

За взмахом птичьего крыла
Кружится в воздухе воронка
И ветерок, свистящий тонко,
Скользит, задев колокола.

Вороний крик над головой,
Сухой и хриплый – как предвестье,
Висит над немотой предместья,
Над пыльной высохшей травой.
Покуда зреет в медных лбах
Не звон, а только мысль о звоне,

Деревья, слыша крик вороний,
Ещё витают в облаках.

Меж тем, от черного крыла
Завьется ветер по спирали
И бурю вытянет из дали.
Так что ж молчат колокола?

РЕФРЕН:

Отражение 7.

Чьи-то вздохи я слышу сквозь сон,
Чей-то стон преломляется болью –
Это старый очнувшийся клен
Желтых птиц отпускает на волю.

Как слепые, почуяв тепло,
Рвутся птицы в чердачную нишу,

Грудью в тонкое бьются стекло,
Тени крыльев ломая о крышу.

Стынут звезды озябшей росой,
Чья-то память не выдержит взгляда,
Смотрит женщина с желтой косой
Сквозь холодный огонь листопада.

Не утешить, ничем не помочь,
Безответны холодные дали.
Чьи то крылья разбились о ночь
И на черную землю упали

РЕФРЕН:

Отражение 8.

Январская наледь.
Клубящийся снег.
Вдоль улиц пустынных на стенах холодных

Ослепшие окна, как чьи-то полотна
В гигантском музее по имени – век.

И кажется, мир поражен слепотой,
Как нищий, примерзший к стене вернисажа
И ставший уже продолженьем пейзажа,
С протянутой к ветру ладонью пустой.

Среди холодеющих кариатид
Он кажется копией каменной плоти,
И снежная пыль, полируя лохмотья,
Со временем душу его упразднит.

О, памятник времени!
Кто бы сумел
Так выразить точно молчание сути?
Классический символ – реальный до жути,
Рукой раздвигающий снежный предел.

Белесые копии множит метель
И движутся снежные толпы навстречу;
На вече слепых, по путям человечьим,
Где колокол спит и молчит колыбель.

Россия.
Голодная даль гололеда.
Поземкой захлестнута в небе заря.
Сквозь зимние толщи грядущего года
Глядят ледяные глаза января.

РЕФРЕН:

Наталья Филимошкина

ВСЕ СЕРЬЕЗНО, ДАЖЕ БОЛЬШЕ

(о книге Романа Сенчина «Елтышевы»)

Герой романа «Елтышевы» - обычная среднестатистическая семья, после развала СССР, с горем пополам приспособившаяся к новой социальной реальности. Николай Елтышев – капитан милиции, несет службу в вытрезвителе. Валентина Елтышева – библиотекарь, верная жена, мать двоих детей. Два сына, как в русской сказке, один мал да удал, за что срок в тюрьме отбывает. Другой, старший, увалень и дурень. Простые люди, простые характеры и очень простая семейная история. На первый взгляд, незатейливая семейная идиллия разрушается, обнажая сложную семейную драму, отчаяние и безысходность. Налаженный быт, работа, квартира – все оказывается бутафорией. Отбери – и человек голый, никому не нужный, выброшен на обочину жизни. Чем же он тогда владеет? Тонко и мастерски Роман Сенчин описывает семейный совет. Последнее слово за главой семьи. Но Николай растерян, морально подавлен, унижен. Старший сын самоустраивается, боясь ответственности за свою судьбу. Решение принимает женщина. Взвешенно и хладнокровно. По старой русской традиции – женщина - глава семьи. В роковой момент Валентина сильнее и мудрее своих мужчин. В этом трагедия и крах семьи. Россия по-прежнему держится на женщинах. Вместо заботы о семейном очаге она тащит непосильную ношу выживания. В кого превратится такая женщина? В бабу. Озлобленную и одичавшую. Но ведь Россия тоже женского рода. Автор не дает нравственных оценок героям, он принимает позицию наблюдателя. Даже если очень захотеть, читатель не утонет в метафоричности текста и сюжетной запутанности. Все на поверхности. Сенчин не занимается глубинным анализом мотивации поступков и душевными переживаниями. Простым доступным слогом он повествует о России, которая преломилась в судьбе Елтышевых.

На первый взгляд, Елтышевы – благополучная семья. Николай, вроде бы, уважаемый, авторитетный человек, но его статус главы семьи и мужчины – аморфен. Он давно морально деградировал, нравственно опу-

стился, ни на что не имеет влияния, ни на сыновей, ни на собственную жизнь. Чтобы прокормить семью, заключает сделку с совестью – ворует деньги у тех, кто попадает в вытрезвитель, а затем распределяет по смене. Повязан каждый, так просто не уйти. Попасть на хлебное место крайне сложно. Это отработанный механизм, где все человеческое вытравливается. Елтышев идет на работу распрямив плечи и с достоинством носит милиционерскую форму. Но это дешевая социальная игра. Одна из многих в русской действительности, и все это понимают. Но ничего не делают. Государство унизило мужчину, отобрав право гордиться собой и зарабатывать честным путем. Этот посыл принимает старший сын Артем. Зачем к чему-то стремиться, если государство все обесценивает, а общество вызывает омерзение и страх. Он, ведомый ленью и животным страхом перед жизнью, ничего не предпринимает, не берет на себя никакой ответственности. Артем не приучен к труду, не созрел к самостоятельной семейной жизни. Ни влюбленность, ни рождение ребенка не способны пробудить его, вывести из спячки и безразличия, сподвигнуть на жизнеутверждающий поступок. Обыкновенный современный русский парень. Ему 25 лет, пассивное, угнетенное, депрессивное состояние, вирус безнадежной отчаянности он пронесет до самой смерти. Жизнь есть, а жить не хочется. В романе, как и в современной России, первыми умирают молодые, передавая родителям, словно эстафету – неприкаянность и безнадежность.

Денис, любимый сын Елтышева, его надежда. Николай уверен, младший прорвется в лучшую жизнь, вытянет из социальной ямы семью. Но что это за «лучшая жизнь» и где она находится, никто из героев не знает. Очередной миф, пустая сказка дурманящая мозги. В романе, молодому здоровому, энергичному парню уготовано место в тюрьме (после драки), затем несколько дней свободы и – смерть. Все как в жизни... По-честному, по-другому Россию не почувствовать.

Валентина работает в центральной библиотеке, она успешная женщина: при работе, при муже. Но беда вышибает из привычной колеи. И на поверку – она старая, больная, никому не нужная мать уголовника и жена взяточника. Мгновение – и нет работы, квартиры, социального статуса. Все оказывается иллюзией, как и сама Россия. Бескрайняя территория, держащаяся на одном названии и стариках, ничем не связанная и не сценаризированная. Куда бы ни поехал – везде уготована нищета и отчаяние. Тебя обязательно унижат и обидят – особенности русской души.

Елтышевы уезжают в деревню, как им кажется, временно. Передохнуть, набраться сил и вновь в город строить новую жизнь. Тщетны потуги обездоленного человека... После нескольких дней в деревне семья понимает – это крах. Старые, покосившиеся, сгнившие дома, разбитые дороги, спившиеся мужики

и бабы – современная русская деревня, притон уголовников и обездоленных. Такой ее видит автор, сам выросший в глубинке. Для героев романа эта неприглядная, горькая, отчаянная правда становится убийственной, она окончательно ломает дух семьи и дальше идет медленный отсчет смертей.

В романе нет авторских рассуждений и откровений, Сенчин описывает три года семьи Елтышевых. Это не семейная сага о преодолении и торжестве. Это горькая правда о русской жизни – откровенной и отвратительной. В основе сюжета ситуация жизненной депрессии, ее динамика и финал, все остальное сдерживание пружины. Стержень романа - мрак, где заблудилась человеческая душа, судьба семьи и действительности, которую каждый из нас носит в себе. Что есть добро и зло? Человеческие выдумки? Две силы уравнивающие друг друга, находящиеся в гармонии и состоянии покоя? Торжествующее зло мира исходит от человека и к нему возвращается. Николай Елтышев без колебаний принимает «условия вырезвителя», оправдывая преступления извечным «жизнь такая». До поры до времени он оборотень в погонах, затем серийный убийца. Елтышева не арестовывают, хотя улики налицо. Ворон ворону глаз не выклюет. Зло не истребляет своих творцов и паразитов, в ком же тогда вить гнезда? Характерно, что любой поступок, решение героев обречено на провал. Переезд в город откладывается, дом не строится, новая жизнь идет кривь и вкось. Созидающее светлое, жизненное – в добре. А его в романе нет. И это не случайно. Ведь и сами Елтышевы жертвы социального тупика и безразличия. Их способ жизни – усредненность и невежество. Нищие духом, они быстро люмпенизируются, словно падение и гниль были давно заложены у каждого внутри. Ввести момент торжества над злом, сделать его наказуемым, значит обмануть читателя, предать субъективное ощущение и понимание русской действительности, правду жизни – принципиальная авторская позиция. Сенчин не видит будущего страны. И не видит выхода из тупика, в которое загнано уже не одно поколение. И в этом его слабость, как автора. Поэтому нет выхода и у героев, они обречены если не на смерть, то на преступление. Такие условия жизни предлагает государство. И каждый прогибается, веруя в то, вот ему-то обязательно повезет. Но и удача обходит стороной преданных и предавших. Зло будет побеждать, пока человек не почувствует, не распробует вкус добра, не задействует свои внутренние силы на преобразование мира внешнего, не возьмет на себя личную ответственность не только за деяния, но и за мысли, которые как известно способны преобразовывать материальный мир. Череда убийств, это еще и нравственный крах семьи, малой части общества, которая, словно лакмус впитала в себя бездушность и озлобленность, коими поражено общество в целом. Все перевернулось с ног на голову. Канули в Лету понятия о добре и чести,

нравственности и морали, их место заняли пустота и нажива, обесценившие в человеке человека и сбросившие его с пьедестала творца в грязь к незаметным букашкам и козявкам. Это вещи, о которых многие знают, но проговаривают единицы. Стыдно и унижительно быть сыном милиционера, нормально и естественно – тунеядцем, преступником, убийцей. Если не можешь с кем-то договориться и решить вопрос – возьми топор и убей. Если боишься жизни и испытаний – сиди на шее у родителей. Есть форма, но нет содержания, есть страна, но нет будущего, есть семья, но нет любви. Именно поэтому герои не озадачены нравственным поиском, совестью, раскаянием, из них уже давно вытравлено человеческое.

Всю жизнь Елтышевы были уверены, все у них хорошо, все, как у людей. Придет время и государство позаботится о них. В итоге – нищенская пенсия, хамское отношение, брошенность и выживание, но не на необитаемом острове, а в стране, где якобы действуют государственные институты и социальная защита. Не загнулся – воруй и убивай; сдох – твои проблемы. Человеческая жизнь висит на волоске и ничего от нее не зависит – в этом ужас русской действительности. Любая беда, трагедия способна разрушить, превратить в дорожную пыль человеческую судьбу. Что есть человеческая жизнь? Ничто, - именно такая идея заложена в книге, такой посыл дает автор. И еще больше усугубляет состояние и мировосприятие думающего и переживающего читателя. Окончательно разрушает надежду хоть на самый малый прорыв в лучшее и настоящее. Конечно же, Сенчин делает это не сознательно, он сам так ощущает действительность. Писатель, чей удел – видеть и чувствовать немного дальше и больше обывателя, словно говорит: «Все ребята, это конец. Дальше ничего». Конец России пришел не с диким капитализмом, а с моральным разложением и нравственным падением русского человека. Что из этого есть правда и с чем можно согласиться, каждый решает самостоятельно. Ведь каждый из нас живет здесь и сейчас, и если бы все было ложью, история Елтышевых потонула бы, сгинула, но она услышана, книга не затерялась, а стала событием.

Это роман – о не любви, о ненависти и бездуховности, о нищете, сила которой разъела не только душу человеческую, но и страну. Депрессия, отчаяние, безысходность закручены до предела, они поражают не только Елтышевых, для автора это единственная возможность поразить современного читателя. Увы, чтобы затронуть огрубевшие струны человеческой души зла и безысходности должно быть слишком много. В этом сила художественного слова Романа Сенчина, в социальной остроте, в проблематике которую автор затрагивает, в простом и доступном изложении. Когда-нибудь, лет так через триста, вполне вероятно историки захотят составить художественное представление о России XXI века по творчеству Сенчина.

Интересно, какие чувства они переживут – ужас, сострадание, безразличие?

В романе талантливо обыгран тонкий и очень важный момент – Елтышевы сами по себе, рядом нет верных людей. Им не помогают, а используют. И семья принимает правила игры: «с волками жить по волчьим выть». Каждый сам за себя и каждый сам по себе – не такой ли девиз звучит на просторах России? В итоге семья погибает. Взаимовыручки и поддержки нет не только извне, но и внутри семьи. Их сложные отношения, сглаженные городской жизнью, где каждый живет в своей комнате и варится в собственном соку, обостряются. Не высказанные претензии, замолчанные конфликты – все выходит на поверхность, словно грязная смердящая пена. И в момент беды, когда семья, чтобы выстоять, должна сплотиться, разрастается вражда и непонимание. Отец убивает сына, и продолжает жить, и только после гибели любимого сына – умирает. Круг замыкается. Старые библейские истории переложенные на русскую действительность – отчаянны и депрессивны.

Что остается русской женщине похоронившей за три года двоих сыновей и мужа, кроме придорожной пыли? Последний Елтышев – внук Родион. Он – случайное недоразумение и жизненная необходимость одновременно. Валентина прогоняет со двора невестку с ребенком на руках. Ведь столько вокруг безнаказанного зла, разве способно что-то изменить еще одно черное пятно? Да и что сейчас значат дети? Обуза, крест, лишний рот. Внук не признает в Валентине бабушку, не помнит своей фамилии, его детская забывчивость – единственное наказание в романе. Ты породила зло? Получай обратно.

Несмотря на перехлестывающие пессимизм и депрессию, книга нравственная и очищающая. В чем ее сила? Повествование, словно широкая река, течет медленно и плавно, но загляни в воду и оторопь берет от холодной опасной глубины. Через историю обыкновенной семьи, через частное автор выходит на общее и большое, поднимает острый вопрос морального выбора, который каждый делает ежесекундно. Действовать или быть жертвой? Подчиниться обстоятельствам или использовать собственную волю? Совершить добро или зло? Принять на себя ответственность за все происходящее или самоустраниться? Быть человеком или опустившейся мразью? Отстаивать себя или позволить унижить?

И словно тоненький луч сквозь нависшее мрачное небо просвечивает единственно светлый и оптимистичный образ книги - природа... величественная и умиротворенная. Круговорот времен – вечный и неизменный. После зимы, всегда приходит весна. Всегда, чтобы в человеческом мире не случилось.

РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ

Rainer Maria Rilke

(1875 - 1926)

Перевёл с немецкого Виталий Шнайдер

DER NACHBAR

Fremde Geige, gehst du mir nach?
In wieviel fernen Städten schon sprach
deine einsame Nacht zu meiner?
Spielen dich Hunderte? Spielt dich einer?

Gibt es in allen großen Städten
solche, die sich ohne dich
schon in den Flüssen verloren hätten?
Und warum trifft es immer mich?

Warum bin ich immer der Nachbar derer,
die dich bange zwingen zu singen
und zu sagen: Das Leben ist schwerer
als die Schwere von allen Dingen?

(1902/03, Paris)

СОСЕД

Далёкая скрипка, за мной по пятам
по сёлам ты следуешь и городам,
повсюду в ночи раздаётся твой плач.
Играет оркестр? Один ли скрипач?

Скажи мне, во всех ли больших городах
находятся вечно те чудаки -
без звуков чарующих - в тёмных волнах
топитья готовы бурной реки?

Зачем же я вечный сосед тех несчастных,
что струны терзают твои, не жалея,
и повторяют: «Ночей всех ненастных
жизнь и ненастнее, и тяжелее».

ТЕОДОР ФОНТАНЕ

Theodor Fontane

(1819 - 1898)

Перевёл с немецкого Виталий Шнайдер

Ein neues Buch, ein neues Jahr

Ein neues Buch, ein neues Jahr
was werden die Tage bringen?

Wirds werden, wie es immer war,
halb scheitern, halb gelingen?

Ich möchte leben, bis all dies Glühn
rücklässt einen leuchtenden Funken.

Und nicht vergeht, wie die Flamm im Kamin,
die eben zu Asche gesunken.

НОВАЯ КНИГА, НОВЫЙ ГОД

Новая книга и новый год,
дней и ночей бесконечность круженья.

Смена времен что же мне принесет, -
радости взлёта, горечь паденья?

Но не хочу я напрасно сгореть,
словно огонь, затухая в камине.

Пеплом остывшим подёрнется медь,
сердце моё никогда не остынет.

Виктория Жукова

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ

Самое прекрасное летом – запах скошенной травы на лугу, когда полуденное солнце торчит в небе с неумолимостью убийцы, а пролетающие облачка, стараясь казаться непричастными, разбегаются в разные стороны. Жужжат пчелы и шмели, неуспокоенными душами мечутся бабочки и стрекозы, неистовствует тайный орден невидимых кузнечиков, где-то высоко-высоко носятся очумелые ласточки. В садах, в больших медных тазах, варят варенье, кто на костерке, кто на примусе или керосинке. Запах жженого сахара на миг перебивает главный запах лета, но легкий ветерок ловко гонит его в сторону, и, восстановив справедливость, бежит дальше в поисках развлечений. Сквозь зелень мелькают яркие платья, а то и белые женские тела в лифчиках и разноцветных панталонах до колен. Стесняться некого, мужчины в городе, или рыбачат на ближайшем пруду. Густая зелень спасает только от нескромного взгляда, но не от остановившегося, и как будто приклеенного к небосклону, солнца. День бесконечен, вот и дымки от костерков пропали, а солнце не сдается, палит нещадно, как будто мстит за что-то людям. Домишки раскалены, и даже подумать страшно, о предстоящей душной бессонной ночи, когда во дворах вспыхивают тут и там угольки сигарет, двери распахнуты настежь и даже самый маленький сквознячок не тревожит мечущихся на влажных простынях дачников.

Лидия Ивановна в изнеможении привалилась к перилам и прикрыла глаза. Здесь, в подвале, пахнущем землей, проросшей картошкой и мышами, хотя бы можно было дышать. «Как ждешь этого лета, – думала она, – а приходит, и не знаешь в какую щель забиться». Просидев несколько минут, Лидия со вздохом поднялась и двинулась к полкам, держа обеими руками трехлитровую банку свежесваренного варенья. Но тут наверху в доме раздался шаг, и слабый голос позвал: «Лида, Лида, скорее...» Лидия Ивановна от неожиданности вскинула голову и, ударившись о балку, на секунду потеряла сознание. Она сползла на пол, а нетесаная доска, удерживающая низкий потолок, окрасилась кровью. «Лида, Лида, – все глуше звучал голос, – дай лекарство, мне совсем плохо». Лидия Ивановна лежала на земляном полу погребца и плакала, вся облепленная вареньем перемешанным с осколками стёкол. «Лида, ты где? – шелестел муж,

нагнувшись над раскрытой дверцей погреба, - не вставай, сейчас я тебе помогу», - испуганно бормотал он, неуклюже спускаясь по лесенке. Наклонившись над лежащей женой и ощупав ее руки и ноги, он облегченно вздохнул. «Слава Богу, цела, шишки и синяки не в счет, а как тут хорошо... прохладно, мне даже с сердцем легче стало. Так чего же ты плакала? Я так испугался, тебя нигде нет, потом плач непонятно откуда...» - «Варенье жалко, я его два дня варила, земляничное, - помедлив, всхлинула Лидия Ивановна, - как хорошо, на зиму было бы... А ты чего приехал? Я тебя только в пятницу ждала...» - «Соскучился, плохо дома одному», - пробормотал муж и смущенно опустил голову. Он счистил липкое месиво, стряхнул осколки и, осторожно поддерживая, помог ей выбраться из подвала. А потом, на веранде, они долго пили чай с прошлогодним вареньем, разговаривали о пустяках и блаженно щурились на солнце, пытаясь побороть внезапно возникшее неясное томление...

НА ТРОТУАРЕ

Женщина сидела на земле, спрятав лицо под большим деревенским платком. Рядом на картонке притулилась девочка лет пяти, она грызла сухарь. В ногах ребенка лежала бумажная иконка Николая Чудотворца и плакат с полинявшими строчками. Особенно крупно выделялось слово «кормильца». Оно тоже малость подзатекло, но в глаза бросалось. Мимо шла равнодушная толпа. Иногда кто-нибудь выхватывал глазами это слово, и тогда в картонную коробку летели несколько монет. Женщина каждый раз хищно заглядывала внутрь и быстренько выгребала крупные деньги, а мелочь, от рубля и ниже, оставляла в коробке, намекая таким образом проходящим о ее предназначении. Девочка скучала. На женщину она не смотрела, сидя рядом, как соседка по электричке.

Мимо шагали ноги в брюках, юбках, шортах. Цокали каблучки, пылили кроссовки, шаркали стоптанные туфли. Каблучки, проходя мимо, ускоряли шаг. Кроссовки притормаживали, отечные ноги в разношенных босножках останавливались. Женщины с колясками пробегали быстро, детей, которых вели за руку, протаскивали рывком мимо, и те долго недоуменно оглядывались. Остановилась старушка и, подслеповато щурясь, начала читать плакат. Большая матерчатая сумка, бившаяся в ее ногах, взлетела вверх и мерно заколыхалась. Из сумки старуха вытащила дешевую конфетку и протянула девочке. Та хмуро взглянула, засунула в рот сухарь и выставила грязную ладонку. «Сирота», - прошелестело наверху. Подбежал паренек лет 12-ти, заглянув в коробку, сделал вид, что что-то опускает, а на самом деле выхватил из нее пригоршню мелочи и убежал. Женщина в бессильной злобе проводила его взглядом. «Сестра, - раздался мужской голос, - возьми,

сладкий, вкусный, совсем целый». К их ногам опустилась небольшая, немного побитая дыня. Женщина быстро накрыла ее подолом грязного платья.

Близился вечер, небо потемнело от набежавших туч, закапал мелкий дождик. «Пусти, – прошептала девочка, – мне нужно». Женщина быстро оглянулась и отстегнула от пояса ребенка незаметный шнур. «Убежишь, – женщина оскалила редкие почерневшие зубы, – везде найду и тогда Рустаму отдам. Поняла?» Девочка задрожала и закивала головой. «Лучше под трамвай», – подумала она, уворачиваясь от огромной собаки, бегущей ей навстречу. Теплый лохматый бок коснулся босой ноги, девочка раздраженно оттолкнула пса и побежала к кустам.

Когда возвратилась, около женщины стоял молодой милиционер и брезгливо ногой отодвигал плакат, чтобы освободить поднимающейся женщине место около себя. Девочка замерла. Она отступила и пригнулась за кустом. Женщина встала и, оглядываясь, быстро что-то сунула милиционеру. Тот скосил глаза на свой оттопыренный карман и отошел, позевывая. Женщина собралась было опять сесть, но, почувствовав неладное, оглядела все вокруг и, не обнаружив девочки, метнулась к кустам. Там никого не было. Женщина приподнялась на цыпочки, поверх голов пытаясь разглядеть ее в толпе. Покрутившись, вернулась на свое место. Дыня исчезла. Не было и плакатика. Женщина рухнула на колени и зарыдала в голос, мерно покачиваясь и закрывая лицо грязными руками. Девочка притаилась в соседнем подъезде, осторожно посматривая на улицу. Увидев плачущую женщину, заволновалась, заскулила, как брошенный щенок, и шагнула за порог. Ей захотелось подойти, прижаться к ней, смутно напомнившей почти забытую мать.

Потоптавшись у подъезда, она вдруг встретилась взглядом с неказистым, сидящим на лавочке мужичонкой. Тот оскалил беззубый рот и потянулся к ней, отводя руку с зажатой в ней банкой пива. Девочка заметалась и с криком кинулась к женщине. Припав к ее плечу, она тоже зарыдала, заголосила со всхлипами, вскриками и кашлем. Женщина развернулась и крепко ее обняла. Теперь голова к голове они, как родные, сладко оплакивали свою безысходную жизнь. Вокруг них стала собираться толпа, в коробку посыпались деньги – монеты и бумажки. Расчувствовавшийся браток кинул им долларовую купюру. Бродячая собака – и та села неподалеку, печально поглядывая на них.

Женщина, продолжая плакать, вдруг бросила острый, трезвый взгляд на наполнившуюся коробку и заметила, как хорошо действует на прохожих плач, особенно детский, и этим надо почаще пользоваться. Девочка, почувствовав возникшее отчуждение, отпрянула и, вытирая слезы, подумала, что надо бы поменять «мамку». Эта больно противная. Разочарованная, смущенная толпа начала расходиться.

Альфред Ходорковский

Памяти Осипа Мандельштама

«ТЕНЬ МОЯ ЖИВЕТ МЕЖ ВАМИ».

Средь неискренних песен и слов,
Где талант оказался в излишке,
За рядами парадных голов
Мне мерещатся нары и вышки.

Горло сжала стальная рука
Неотвязно, безжалостно, цепко ...
Чей-то палец уже у курка,
Чья-то жизнь разлетается в щепки.

Захоронены в книжке стихи –
Необузданность тем и сюжетов.
В них сказались страдания Поэта
В неприкаянном крае стихий.

Это трепетный голос души
Изливается вольно стихами.
Вся в печали, в тревожной тиши
Тень Поэта склонилась над нами.

БЛАГОСЛОВИ, ГОСПОДИ...

Уста мои молчанием светло...
Я б улетел, постылый и гонимый,
К загадочным стенам Иерусалима,
Но у меня надломлено крыло.
Благослови на щедрые дожди

Все небеса над скорбною Стеною.
Свою судьбу не вижу я иною –
Горит любовь в истерзанной груди.
Благослови пустыню и поля,
И, Господи, пути мои земные,
И пусть уста заговорят немые,
И радостью наполнится Земля.

ДОН КИХОТ

(реминисценция)

Мне говорят, ты новый Дон Кихот -
И рост, и худоба, да и борода.
И вся-то жизнь твоя наоборот
И мир твой из одних иллюзий соткан.

Мне кажется, что он несправедлив,
Что враг стоит у каждого порога.
Мой верный конь и дерзок, и ретив:
Пора на Росинанта – и в дорогу!

О, мой скакун! Всегда ты в путь готов...
Копыта сбиты и свалялась грива.
Куда поскачешь, бедный, без подков,
Зачем копытом бьёшь нетерпеливо?

...Ты прав, увы, тебе замены нет.
Всех сон сморил – уснули беспробудно.
Не жаждут ни борьбы и ни побед,
Походов и сражений многотрудных.

А я готов, твой храбрый Дон Кихот.
Пройдём же до конца свои дороги
От самого порога – и вперёд,
Пока в душе звучит сигнал тревоги.

* * *

Мыслей шалых клубок
Ветер по миру носит,
На распутьях дорог
Закружила их осень.

Эта ночь до утра
Душу памятью цепкой
Мне острей топора
Изрубила на щепки.

«Рубишь – щепки летят».
Час за часом не легче:
От обид и утрат
Даже время не лечит.

Мыслей шалых клубок,
Не распутанный мною...
От привычных тревог
Нету ночью покоя.

Евгений Никитин, Алёна Чурбанова

БУМЕРАНГИ

Под окнами немецкой гимназии стоят теннисные столы. Однажды герр Шульце, учитель математики и муж фрау Шульце, учительницы философии... нет, я не о том говорю. Однажды в семь утра человек с белым лицом прыгнул из окна четвертого этажа и разбил голову о теннисный стол. Он мгновенно умер, а в кармане его брюк нашли мобильный телефон, на котором была ровно одна смс-ка.

Мне показали эту смс-ку. Она написана человеком, который абсолютно не чувствует, как нужно составить фразу на немецком языке. В переводе она звучит примерно так (я не стану имитировать ломаную речь):

«Вчера связала себе шерстяные носки – они получились похожими на бумеранги. Жалко, они не прилетают утром, когда перед сном зашвыриваешь их куда-нибудь.»

«Наверное, ему писала русская девушка», – подумал я и стал воображать невесть что. Русская девушка из Петербурга, она приехала в прошлом году по обмену и герр Шульце полюбил ее. Теперь она вернулась назад и пишет ему смс-ки про носки. Фрау Шульце ничего не знает, она безмятежно преподает свою философию, все считают ее наркоманкой: длинные перчатки, из под которых ползут синие вздувшиеся вены, как у культуриста. Фрау Шульце – грустный, тощий, как вобла, человек, голос у нее высокий и унылый, вероятно, лирическое сопрано, такую женщину хочется обнять, утешить и задушить шнурком из сострадания. Теперь она осталась одна.

Я ничего не знаю ни про какую русскую девушку, но представим, вот она приезжает, у них с герром Шульце короткий флирт, она позволяет себя поцеловать, отбывает, лихорадочная переписка, он готов развестись и зовет ее замуж, русская девушка Тася, Анастасия, острые лопатки, нос-картошкой, мама – актриса, папа – известный режиссер, Тася не хочет быть «русской женой», киндер-кюхе-кирхе, но она привязывается к трогательным эпистолам герра Шульце: он рассказывает о математике так, словно речь идет о музыке, а в остальном мучительно краток, например: «Много и бесплодно думал о тебе.» Однажды она пишет ему – я не знаю ничего, но допустим: «Сегодня представляла, что ты меня аккуратно выщеловываешь всю, так задумчиво и методично,

словно решаешь уравнение третьей степени, и постепенно я начинаю учащенно и шумно дышать, слегка подрагивать и пахнуть. Ноздри щекочут мои бока и бедра. А потом ты меня покусываешь – и губами и зубами, а пальцами гладишь, как лепишь косточки таза, которые торчат. Я скулю тихонечко. Потом мы долго отходим, прежде чем снова начинаем дышать носом. Сейчас главное не шевелиться: стоит мне неосторожно повести бедрами и все начнется сначала.»

Это очень мило, такое переводить на немецкий, полагаю, она потратила на это письмецо много сил и времени, а результат был неуклюж, из каждой фразы торчат артикли и партиципы, можно уколоться, впрочем, я все это придумал. Через месяц – классика: она приезжает на двое суток в Берлин, герр Шульце тоже устремляется в столицу, у них есть одна ночь, дальше – с глаз долой из сердца вон. Он готов ехать в Россию, бомжевать, но это бред сумасшедшего, прости, милый, возьми себя в руки. Тася щедра к герру Шульце, это первый и последний счастливый день в его жизни, потому что по возвращении он теряет интерес к окружающей действительности, вяло проводит несколько уроков математики и наутро, прочитав смс про носки-бумеранги, распахивает окно на четвертом этаже, шагает вниз и, как пловец о толщу воды, разбивается о синий теннисный стол.

«Нет, его смерть не могла быть настолько опереточной», – решаю я, и выбрасываю все это из головы.

ДОЖДЬ В АМСТЕРДАМЕ

Я вынырнул из метро Динамо около полуночи. Лил дождь – зонтик я оставил в чебуречной, а шапку в метро. Задумчиво, стараясь всей душой прочувствовать холодную воду, я зашагал по шоссе домой. Если бы я был рыбой, то общался бы с водой каждый день, от звонка будильника до чистки зубов перед сном. Но под водой никогда не идет дождь. Рыбы понятия не имеют о дожде. Они даже не знают, что они – рыбы.

Разве можно себе представить, что встречает одна рыба другую и говорит ей, со значением подрагивая жабрами, мол, куда путь держишь, братан, дай закурить. А вторая ей: «не курю». А первая тогда: «А на метро мне не поможешь мелочью?» «Да я сам студент, откуда у меня деньги». «Ну тогда вали отсюда, говнюк. Студент, блин». Такого себе представить нельзя. Рыба не знает, кто она. Если бы она об этом задумалась, то начала бы относиться к себе как к объекту, а к другим рыбам – как к другим объектам. Такое мышление и приводит к вымоганию денег.

Я шел и пытался слиться с дождем, чтобы преодолеть свою отделенность от среды. У некоторых душа живет в солнечном сплетении или в пятках, а у меня она обитает в голове, у самых корней волос. Дождевая

капля скатывается по волосу и касается нервных окончаний на коже, которые сразу же передают сигнал душе, и душа вздрагивает от озноба. Вдруг возле меня остановилась машина и из нее высунулся улыбающийся седой человек неопределенной национальности, похожий на д'Артаньяна-отца. Бывает, когда человек стареет, национальные черты стираются и остается одна сплошная благородная старость.

- Слушай, садись, домой повезу, – сказал человек.
- Сто рублей до Амстердамского проезда, – ответил я.
- Мало даешь, двести давай.
- Ближе тут, я пешком дойду.
- Садись уже, поехали.

Я сел в машину. Запах в ней стоял специфический – я думаю, старик жил и спал прямо в ней. Некоторое время мы ехали молча и слушали песню про траву у дома. Потом водитель внимательно посмотрел на меня и спросил:

- А где этот арестантский проезд?
- Амстердамский, – поправил я. – От слова Амстердам.
- Амстердам, – задумался старик. – Это страна такой, кажется?
- Город это.
- Точно, город. Там пидоры живут.
- Что? – удивился я.
- Пидоры, говорю, живут там. На улице Красных фонарей.
- А что они там делают? – Спросил я.
- Х... их знает. Живут, фонари светят.
- Странно, – ляпнул я. – Я там был, ни одного пидора не встречал.

Я действительно был в Амстердаме один раз, когда жил в Германии и мы ездили в Голландию всем классом в так называемый классенфарт. Нас водили в музей и показывали картину Рембрандта «Ночная стража». Картину я почти не запомнил – какие-то серьезные люди в касках бессмысленно тарашились из черноты – и мы с моим другом по кличке Мёрэ, что значит «морковь», и девочкой Керстин сбегали из музея и пошли гулять по городу. Мне нравилась Керстин, но Морковь обаятельно приставал к ней, и тут я не мог составить ему конкуренции. Мой немецкий был недостаточно убедителен для флирта, а Керстин понимала Морковь с полуслова. До меня доносилось только нечто похожее на наше «И тут он такой...» «И тут я такая...» «А он такой – дааа, и чё, типа» «А она так – опа!..» «А он такой – ну и всё, типа». Я понятия не имел, о чем они говорили, но по самодовольному виду Моркови можно было определить, что соблазнение Керстин уже на мази. Мы добрались до местного железнодорожного вокзала, похожего на дворец, и подождали там, пока все не вернется из музея. Улицы Красных фонарей я так и не увидел, хотя, думаю, она мало отличается от других подобных улиц: вдоль дороги из отовсюду высовываются

ся женщины и приглашают тебя зайти, а полицейская машина охраняет вход в переулок, чтобы не было никакого безобразия.

– Что, на Улице Красных фонарей ты был? – поразился водитель.

– Ну был, – еще раз соврал я.

– А что ты делал там, слушай?

– Город приехал посмотреть. Всех наших людей, кто приезжает, экскурсоводы водят на эту улицу. Наши очень любят потом хвастать, что ее видели. Это главная достопримечательность Амстердама.

Старик недоверчиво посмотрел на меня и пожевал губами.

– А пидоры где?

– Нету.

– А кто тогда фонари светит, а?

– А никто. Они сами светятся.

– Что ты мне обманываешь? Сами светятся. Зачем тогда отдельный улица делать?!

– Для проституток.

– Там проститутки есть?

– Есть.

– Кошмар, слушай. Не верю я тебе. Что там женщине делать, если сплошной пидоры везде. Зачем ты обманываешь меня? Смеешься надо мной, думаешь, понаехали. А ну выходи из машины.

– Э-э... Дедушка...

– Выходи, кому сказал! Не нужны мне твой сто рублей, – старик покраснел от злости. – В Амстердам едешь, а заплатить нормально не можешь! Мне семью кормить надо, а он мне сто рублей дает. Вали в свой Амстердам.

Я вышел и оказался в каком-то Нигде. Со всех сторон торчали одинаковые дома. Как написал бы Платонов, «их черты стерлись о коммунизм». Пока старик расспрашивал меня про Амстердам, мы все время куда-то ехали, но, видимо, не успели пересечь черту, за которой абсурдное нагромождение зданий и деревьев начинает обретать какую-то логику. Дождь продолжал идти, так что я распластал жабры и поплыл в неизвестном направлении, надеясь, что интуиция выведет меня в более упорядоченные места. Я миновал странный полуразрушенный мост, под которым ютилась стая псов и завернутая в газеты женщина, опустевшую детскую площадку и беспричинно петляющие трамвайные рельсы. Если плыть неправильно, то можно никогда не вернуться из Нигде. Но, согласно легенде, в городе Москве нужно всего лишь долго двигаться вперед: рано или поздно попадаешь к какой-нибудь станции метро. Так оно и вышло – через час я снова оказался у метро «Динамо». Знакомая машина стояла неподалеку с выключенными фарами. Я приблизился: старик спал на сиденье. Должно быть, ему снился Амстердам,

поблескивающий фонарями, как кошка. Старик бродил по улицам, искал пидоров и что-то недовольно бормотал себе под нос. Когда я добрался домой, жена тоже спала. Чтобы вернуться к реальности, я закрылся в своей комнате и почитал почту, и тут вдруг зазвонил Скайп. С монитора мне улыбался лысоватый человек с немного красным лицом. То, что он произнес, можно перевести на русский язык примерно так:

- Вдруг набрал тебя в поиске – есть! Дай, думаю, позвоню.
 - Почему вы говорите по-немецки? – Спросил я после оторопелой паузы.
 - Не узнаешь? Я – Морковь.
 - Мёрэ! Ну ничего себе! Как ты изменился! – Закричал я.
 - А ты – нет! – Сказал Морковь. – Как твои дела?
 - Вот живу теперь в России.
 - Что, правда? Зачем ты вернулся?
 - Женился я тут.
 - Ах, зооо! – протянул Морковь. – Русская жена! Это хорошо. Но там же тоталитаризмус!
 - Какой еще тоталитаризмус?
 - Путин всех притесняет, стреляет во всех. Везде полицай!
 - Я сегодня три часа по городу бродил, ни одного не встретил.
 - Это тебя ввели в заблуждение, – объяснил Морковь. – Там везде стоит полицай. Ты просто обманут вашей прессой. Надо читать немецкую прессу. Она свободная. Ты по-немецки не разучился читать?
 - Да что мы все о политике, – сказал я. – Ты-то сам как? Я тебя сегодня вспоминал!
 - Я тоже женился. Уже несколько лет женат! Видишь, облысел от нервов, – пожаловался Морковь.
 - Неужели на Керстин?
 - Кто это – Керстин?
 - Ты встречался с ней помнишь? В Голландии начал ухлестывать.
 - Ах, Керстин... Нет. Понимаешь, многое изменилось. Моего мужа зовут Кристиан, – сообщил Морковь.
 - Как, – не понял я. – Что?
 - Я в какой-то момент почувствовал, что меня тянет к мужчинам, – сказал Морковь и тяжело вздохнул. – У нас квартира на окраине Амстердама. Тут всегда мой дедушка жил, мы сюда и переехали, когда он умер. Ладно, поздно уже. Утром на работу. Я завтра позвоню. Он отключился. Я тоже пошел спать.
- Всю ночь я гулял по Амстердаму, но город казался опустелым, а потом вся Голландия ушла под воду, и я понял, что разучился, наконец, отличать дождь от остальной среды.

Анатолий Николин

УВОЛЬНИТЕЛЬНАЯ

Эссе

После войны прошло уже двадцать лет. Я, тогда еще совсем молодой человек, проходил службу в Германии. Отправляясь туда, я по наивности думал, что все ужасное с обеих сторон за эти годы забыто и прощено.

Вспоминаю одно воскресное летнее утро. Я – в увольнении. Впереди целый свободный день! Я помню, как не спеша гулял по чистеньким улицам старинного немецкого городка, по площади с островерхой ратушей и средневековым фонтаном. Хорошо помню застывшие по периметру фонтана в скорбных позах мраморные фигурки двенадцати апостолов. Из под них бьют сверкающие струи воды, – символ живительности христианского учения.

У фонтана, несмотря на жаркий день, было свежо и прохладно. Вокруг играли дети, а старинные часы на ратуше мерно отбивали четверти. В небольшом кафе с непривычными для меня – тогдашнего – белыми скатертями я с наслаждением выпил холодного свежего пива.

К вечеру городок исхожен мной вдоль и поперек, и я оказываюсь на окраине. Кругом уютные одноэтажные домики с непременно цветочными грядками и аккуратными хозяйственными постройками.

От жары и выпитого пива меня развезло, и очень хотелось холодной воды. Я окликнул через забор молодую девушку с лукошком, высыпавшую корм курам: «Битте, фройляйн, – вассер»...

Во дворе визжала пилорама. Высокий худой немец распиливал толстые бревна. Завидев меня, он выпрямился и замер. Диск пилы позванивал, вращаясь вхолостую, а немец, словно окаменев, не сводил с меня напряженного взгляда. Глаза его выкатились, нижняя челюсть мелко дрожала, как у парализованного. А на лице застыло выражение ужаса. Я опешил. Немец, судя по всему, пережил ужасы войны и, возможно, русский плен. Иначе чем объяснить его паническую реакцию на мое появление?

Когда я приехал в Германию, то был морально готов ко всему. К прояв-

лениям ненависти и агрессии. К холодному равнодушию и презрительно-му – «арийскому» – неприятию русских. К отторжению нас ментальному и цивилизационному. Но ужас?! Нет, такого увидеть я не ожидал..

Страх передо мной, русским солдатом, незнакомого, пожилого немца, его ощущение беспомощности и беззащитности потрясли меня. Мне было неловко и стыдно. Уж лучше бы этот немец меня оскорбил или ударил.

Я ушел, так и не дождавшись стакана воды.

В тот далекий летний день я пережил, испытал на своей шкуре чувства немцев к миллионам русских солдат, ворвавшихся в их страну в 1945 году. Чувства всех убитых, ограбленных и изнасилованных во имя праведного мщения. Мщения, если не оправдывающего, то объясняющего, по мнению многих тогда, любые злодеяния.

В тот далекий жаркий день я заболел каким-то внутренним душевным недугом. Я не мог больше четко и однозначно оценивать любые события и последствия прошедшей войны.

Стендаль утверждал, что революционный энтузиазм народа не может длиться более одного столетия и иссякает, гаснет со временем, как костер без хвороста. Ему на смену приходит усталость и безразличие к некогда «священным» идеалам.

Точно также обстоит дело и с войнами и их последствиями. Невозможно ненавидеть то, что ты сам не пережил. И что пережил, – тоже нельзя ненавидеть вечно. И та, и другая сторона в войне – жертвы, а не герои, поражены, а не победители. В любой тяжелой кровопролитной войне бывают разгромлены оба противника, и проигрывают оба.

Не могу сказать, что я вернулся в казарму другим человеком, но прогулку свою я запомнил крепко.

Вадим Гройсман

ВЕТЕР И БУМАГА

* * *

Мне чудится младенца первый крик,
Едва пустого воздуха глотну я.
Не стыдно и не страшно ни на миг
Сказать, что смерть придвинулась вплотную.

Но вот – не занял выемку в земле,
А лишь застыл, как ласточка в полёте,
Лишь в операционной на столе
Всё вытерпел, как человек без плоти.

И даже различаю всякий раз
Какой-то луч потерянного следа,
Когда лежу, не открывая глаз,
Уже очнувшись от ночного бреда.

Должно быть, где-то рядом благодать,
Там ангелы стрекочут и пасутся.
Хочу проснуться? Не хочу проснуться?
Простых желаний мне не угадать.

* * *

Облака – растрёпанные косы –
Протянулись над пустым холмом.
Приютили кедры или сосны
Тишины испуганный фантом.

Издали доносятся до сквера
Вой сирены и шашлычный дым.
Осень, сумерки, число и мера
Завладели временем моим.

Надо бы проститься осторожно:
Хорошо смеркается, надежно,
Глянул вечер с ближних берегов.
Вся округа, сколько видеть можно,
В разноцветных точках очагов.

К сердцу подступающая влага.
Словом наведённые мосты.
То и это. Ветер и бумага.
Без любви не совершить ни шага
Прочь от неизбежной темноты.

* * *

Даже если всё кончилось, говорю,
Всё равно зубри эту осень четью,
Наизусть выучивай к ноябрю,
Даже если всё обернулось сетью,

На деревьях раскинутой, на кустах,
На пейзаж дождём наброшенной грубо,
Вот такая кручина в этих местах,
Вот такой оборот земного круга,

Быстро проза слезливая прочтена,
Прилетела влага в небесных лодках,
Всё сначала, товарищ мой, начинай,
Даже если духа не стало в легких,

Под дождём без порванного зонта,
Только лужи хлюпают за тобою,
Всё равно ещё эта боль звонка,
Круг за кругом падая на мостовую

* * *

Короткая ручка зонтика – знак вопроса.
Зима сжимает нас, как свои пружины.
Скользят худые подмётки, буксуют колеса,
Сырыми боками трутся дома и машины.

Как этот вечный пейзаж напряжён и скуден,
Как верхние этажи скрывает густая манна,
Никто не встретится нам, никого не будет
В конце тумана времён, в конце тумана.

Оно и к лучшему. Смерть – кольцевая ветка.
Темны перегоны памяти. Что ты, что ты!
Тебе хотелось бы на пепелище века
Оспаривать прошлое, вырывая счёты?

А так – застыла музыка в перелеске,
Сияет небо чистыми облаками,
Никто никого в холодном и ровном блеске
Не ищет невидящими руками.

ОЛИВА

Там, где на холодный скат залива
Волны обессиленно легли,
Старая знакомая – олива
Тянет корни из скупой земли.

Непогода, острая и злая,
Ветер, налетающий с утра.
С ямами, буграми и узлами,
Страшная, запавшая кора.

Ударяя тяжело и кратко,
Будто капли каменной воды,
Падают в растрёпанную травку
Сморщенные чёрные плоды.

В море утекает год за годом.
Для чего, не понимаю сам,
Нам с тобой, калекам и уродам,
Подставлять обрубки небесам?

Вся округа – корчи и нарывы,
Стертый камень, неподъемный путь.
К ветке умирающей оливы
Прикоснуться – будто цепь замкнуть.

* * *

бочком бочком среди февральских луж
еще десяток лет по воздуху развей
кем будешь ты тогда не мальчик и не муж
и не старик ещё но время всё резвей

разорванное знамя нищеты
оставишь на дороге отыграв
искусственное время не щади
стучи как божий телеграф

там возле выхода на остановке той
в каком-то октябре ли феврале
захочется пожить хоть на горе пустой
хоть на отравленной земле

да хоть на этой что давным-давно
из чёрной копоти и неудачных проб
и дождь колотит в мутное окно
как будто в застеклённый гроб

* * *

В чужбине свято наблюдаю...

Пушкин

Как синица на ладошке –
Два стремительных крыла, –
Вита в ветхой оболочке
Быстролётна и мала.

Коченея и лысея,
Замыкая скучный круг,
Как заведено в Расее,
Птичку выпустил из рук.

Всё обещано синицей –
И долги, и седина,
И проходят вереницей
Время, время, времена.

ЭКСПРОМТ

на этой улице ночной
я чую холод неземной
из опустевшего колодца
сухие звёзды декабря
стоят над домом говоря
что время сыплется и льётся
и только слово остаётся
мой голос тихий и больной
на черной тишине горя

Дмитрий Хмельницкий

Из истории строительства мавзолея Ленина

История главного культового здания СССР – мавзолея Ленина – по-прежнему изобилует лакунами и загадками, несмотря на обилие научных публикаций и воспоминаний современников. Только в советское время о мавзолее вышло три книги и множество статей, дополненных разнообразными материалами и опубликованных за 25 постсоветских лет.

Совершенно таинственной выглядит история возникновения самой идеи мумифицирования тела Ленина и экспонирования его для всеобщего обозрения в специально построенном для этой цели мавзолее. Труднообъяснима (несмотря на несомненные художественные достоинства) архитектура последнего, каменного мавзолея. Она как будто возникла из пустоты, не связанная, на первый взгляд, напрямую ни с конструктивистской архитектурой предшествующей эпохи, ни с будущим сталинским стилем. Она не укоренилась в 20-х годах и не оказала видимого влияния на 30-е, хотя автор мавзолея Алексей Щусев стал создателем многих образцовых сооружений сталинской эпохи. Но практически никаких связей с архитектурой мавзолея найти в них невозможно. Не прояснена до конца и история проектирования и строительства всех трех, сменявших друг друга, вариантов мавзолеев.

Вопрос о том, кто придумал мавзолей, никогда не ставился в российской историографии. Традиционно считалось, что он возник абсолютно естественным путем, как прямое выражение общественной потребности не расставаться навсегда с физической оболочкой любимого вождя. Политбюро просто пошло навстречу желаниям народа. В реальности ничего подобного быть, конечно, не могло. И трудно было представить себе в тот момент более экзотическую для всех, независимо от политических взглядов, идею, чем превращение тела умершего председателя СНК СССР в мощи.

Когда 21 января 1924 года умер Ленин, членами Политбюро, кроме него, были Троцкий, Зиновьев, Каменев, Рыков, Сталин, Томский. Кандидатами в члены – Бухарин, Калинин, Молотов, Рудзутак. Тройка Зиновьев-Каменев-Сталин в это время вела борьбу с Троцким, который

стремительно терял свои позиции. Кроме того, его не было в это время в Москве. Из членов правящего триумvirата, пожалуй, только один Сталин был психологически способен придумать, продумать и в считанные дни пробить фантастическую идею мумификации трупа Ленина и превращения его в религиозно-пропагандистский символ. У него хватало и фантазии, и власти. Тогда Сталину было еще не до художественных проблем. Закладывая культ Ленина, он разрабатывал долгоиграющую политическую идею. Документов на этот счет никаких не опубликовано, но вполне достоверную версию событий изложил в своих воспоминаниях, вышедших в 1971 г. в США, Николай Валентинов-Вольский. Старый член РСДП, меньшевик, Валентинов хорошо знал Ленина по дореволюционному времени. В середине 20-х годов он работал зам. главного редактора органа ВСНХ «Промышленная газета» и близко знал едва ли не всю большевистскую верхушку. История, изложенная в его воспоминаниях, была рассказана Бухариным Рязанову и дошла до Валентинова в пересказе:

«Троцкий в своей автобиографии писал, что «На Красной Площади воздвигнут был при моих протестах недостойный и оскорбительный для революционного сознания мавзолей». Когда Троцкий протестовал? Конечно не тогда, когда мавзолей с бальзамированным трупом Ленина уже появился. Тогда протестовать было поздно и невозможно, да и во время появления мавзолея Троцкий был не в Москве, а в Сухуме. Протестовал Троцкий задолго до этого, и досадно, что нигде в своих воспоминаниях он об этом не рассказывает. Вот что можно установить из рассказов Бухарина. Вероятно, в последних числах октября 1923 г. сошлись шесть лиц из Политбюро — Троцкий, Бухарин, Каменев, Калинин, Сталин, Рыков. Это не было заседанием Политбюро. Зиновьев и Томский на нем не присутствовали, не было ни записи происходившего разговора, ни какого-либо зафиксированного решения. Это было только беседой. Сталин сообщил, что по полученным им сведениям состояние здоровья Ленина внезапно столь ухудшилось, что можно опасаться смертельного исхода. <...> Отзываясь на сообщение Сталина, Калинин указал, что надвигающаяся смерть Ленина ставит перед партией важнейший вопрос о его похоронах. «Нужно обдумать все к ним относящееся. Это страшное событие не должно нас застигнуть врасплох. Если будем хоронить Владимира Ильича, похороны должны быть такими величественными, каких мир еще никогда не видывал». Сталин вполне поддерживал Калинина. Нужно действительно все обдумать заранее, чтобы не было растерянности, незнания, что делать в часы великой скорби. Этот вопрос, как мне стало известно, очень волнует и некоторых наших товарищей в провинции. Они говорят, что Ленин русский человек и соответственно тому и должен быть похоронен. Они, например, категори-

чески против кремации, сжигания тела Ленина. По их мнению, сожжение тела совершенно не согласуется с русским пониманием любви и преклонения перед усопшим. Речь Сталина была длинная, верткая, но что я верно передаю ее смысл и направление, можно судить по ответу на нее, который с величайшим возмущением сделал Троцкий: «Когда тов. Сталин договорил до конца свою речь, тогда только мне стало понятным, куда клонят эти сначала непонятные рассуждения и указания, что Ленин — русский человек и его нужно хоронить по-русски. По-русски, по канонам русской православной церкви, угодники делались мощами. Я очень хотел бы знать, кто эти товарищи в провинции, которые, по словам Сталина, предлагают с помощью современной науки бальзамировать останки Ленина, создать из них мощи». В полном согласии с Троцким и с таким же возмущением говорил Бухарин. Превращение в бальзамированную мумию останков Ленина, по его мнению, до такой степени оскорбительно для его памяти, до такой степени противоречит, не вяжется со всем его материалистическим, диалектическим мировоззрением, что об этом не может быть и речи. В таком же духе возражал Сталину и Каменев. По-видимому, на Сталина и на Калинина протесты Троцкого, Бухарина и Каменева впечатления не произвели. Сталин отказался назвать имя «товарища из провинции», предложившего произвести бальзамирование останков Ленина, а Калинин продолжал настойчиво твердить, что Ленина нельзя хоронить как простого смертного. Странную, но клонящую к Сталину и Калинин у позицию, занял Рыков. Он находил весьма неудачной вообще идею устройства кладбища на Красной площади у кремлевской стены».

Что же случилось, когда Ленин умер, и уже безотлагательно потребовалось договориться, как его хоронить? О принятом на этот счет решении не знали даже в высших рядах партии. Например, Е. Ярославский занимал важнейший пост секретаря Центральной Контрольной Комиссии партии, куда, по определению Сталина, могли входить лишь люди, равные «цекистам». И все-таки даже он, Ярославский, не знал, что решено, и потому в своей поминальной статье (над нею потом издевались), помещенной 26 января в «Правде», он писал: «Родной Ленин! Смертное тело твое — скроем в землю, а дело твое, твои мысли останутся с нами в нас». В том-то и дело, что было решено не скрывать, не зарывать останки Ленина в землю. И в том же самом номере «Правды», в левом уголке четвертой страницы, явно избегая эпатировать партию и население, президиум ЦИК скромненько напечатал следующее постановление, подписанное его председателем Калининим:

«Идя навстречу желанию, заявленному многочисленными делегациями и обращениями в ЦИК СССР и в целях предоставления всем желающим,

которые не успели прибыть в Москву ко дню похорон, возможности проститься с любимым вождем, президиум ЦИК Союза постановляет:

1. Гроб с телом Владимира Ильича сохранить в склепе, сделав последний доступным для посещения.

2. Склеп соорудить у Кремлевской стены на Красной площади среди братской могилы борцов октябрьской революции».

Это постановление кажется каким-то ребусом. Оно двусмысленное. С одной стороны, сохранение тела Ленина должно носить как будто временный характер. С другой стороны, «склеп» совсем не для временной цели, а навсегда для его постоянного посещения. Объяснение ребуса оказалось простым. В Политбюро была группа, которая, не считаясь с протестами Троцкого, Каменева, Бухарина, твердо решила труп Ленина бальзамировать и сохранять. За это стояли Сталин, Рыков, Калинин. Заявление Калинина, что в ЦИК будто бы поступали от «многочисленных делегаций» «просьбы и предложения сохранить останки Ленина (по «русским» канонам сделать из них мощи) было, разумеется, ложью, враньем. Все было решено без этих обращений».

Реакция советского населения на мумификацию Ленина была совершенно не такой однозначно восторженной, как это было принято описывать в советских книгах. В том числе, и в кругах рядовых партийцев. Валентинов приводит мнение на этот счет сотрудника «Промышленной газеты» Штромберга: «Мы знали Ленина как вождя революции, законодателя, правителя страны, если хотите — диктатора, заменившего династию царей. Можем ему симпатизировать или не симпатизировать, это дело наших убеждений. Но Ленин — человек, это психика, а нам его потрошат, выворачивают наружу и этим как бы внушают: Ленин только материя, только собрание такого-то характера и состояния полушарий головного мозга, кишок, брюшной полости, сердца, почек, селезенки. В этом есть нечто шокирующее».

В 1927 или 1928 году Валентинов зашел в мавзолей Ленина: «О того, что увидел, впечатление осталось удручающее, отвратительное. Под стеклянным колпаком лежала небольшая лакированная кукла с желтенькими усами. Каким-то лаком было покрыто ее лицо. Ничего, ну абсолютно ничего, сколько-нибудь схожего с человеком, которого я знал».

В вышедшей в 1972 году книге Хан-Магомедова «Мавзолей Ленина» в качестве активного участника и руководителя строительства упоминается только В.Д. Бонч-Бруевич. По понятным причинам никто из членов тогдашнего Политбюро в то время упомянут быть не мог, хотя ясно, что решение о строительстве Мавзолея могло быть принято только на самом высоком уровне, членами Политбюро. Бонч-Бруевич был трехстепенным

чиновником в партийном аппарате. В частности, он занимался снабжением продуктами партийного и правительственного руководства. Главой комиссии по увековечиванию памяти Ленина был назначен Дзержинский. Уже 24 января на заседании Политбюро был заслушан доклад комиссии Дзержинского об организации похорон, а 25 января принято решение ЦИК Союза ССР о строительстве мавзолея. Проект решения ЦИК был подготовлен Молотовым и принят опросом членов Политбюро тогда же, 25 января 1924 года.

В мемуарах Алексея Щусева сказано, что около 12 часов ночи 23 января он был вызван в Кремль, в комнату, где находили члены правительства и комиссии по похоронам: «От имени правительства мне было дано задание немедленно приступить к проектированию и сооружению временного мавзолея. Я имел время только для того, чтобы захватить необходимые инструменты из мастерской, а затем должен был направиться в помещение, предоставленное мне для работы. Уже наутро необходимо было начать разработку трибун, закладку фундамента и склепа мавзолея. <...>Надпись на мавзолее я предложил простую — одно слово. Это слово — ЛЕНИН. Все сооружение должно быть сделано из дерева и обшито досками. К четырем часам утра эскизный набросок мавзолея был готов, я наскоро поставил размеры и вызвал техников для подсчета деревянных конструкций».

Судя по этому свидетельству Щусева, работа по проектированию мавзолея велась в обстановке полной секретности где-то в недрах ОГПУ. В мемуарах Бонч-Бруевича рассказывается, что именно он утром 23 января, накануне визита Щусева в Кремль, собрал в Моссовете первое совещание специалистов по вопросу об устройстве могилы Ленина, куда пригласил Щусева и где тот предложил сделать мавзолей в виде куба. Бонч-Бруевич не упоминает, кто выбрал в качестве автора мавзолея именно Щусева. Скорее всего, это был председатель комиссии по похоронам Дзержинский. Возможно, мавзолей был первым из длинной череды проектов, исполненных Щусевым впоследствии для ОГПУ-НКВД. Бонч-Бруевич утверждает также, что именно он 27 января, перечеркнув первоначальный вариант надписи на мавзолее — «1924 - СССР - Владимиру Ильичу - ЛЕНИНУ» — написал одно слово — «Ленин». Маловероятно, чтобы это решение могло быть действительно принято лично Бонч-Бруевичем, скорее всего утверждал его Дзержинский.

За три дня Алексей Щусев построил на Красной площади три деревянных ящика, центральный из которых должен был служить постаментом для четырех деревянных колонн, объединенных общим антаблементом. На колонны времени не хватило. Некоторое время после похорон Щусев

дорабатывал первоначальный проект, варьируя форму и количество колонн. Пока речь шла о более или менее традиционном варианте усыпальницы. В начале февраля 1924 года за основу достройки был принят вариант с десятиколонной ротондой и антаблементом, который в плане представлял собой десятиконечную звезду (две сдвинутых по отношению друг к другу пятиконечных звезды). Но затем Щусеву было внезапно приказано полностью переработать проект и совместить мавзолей с правительственной трибуной. В феврале 1924 года в советской прессе прошла дискуссия об облике мавзолея, решающую роль в которой сыграл Леонид Красин, нарком внешней торговли СССР. Красин высказался против высотной композиции, в пользу распластанной и предложил «...дать гробнице форму народной трибуны, с которой будут произноситься будущим поколением речи на Красной площади». Красин тоже не был самостоятельной фигурой и явно озвучивал более высокое мнение. Красину было передано правительством наблюдение за постройкой второго деревянного мавзолея, и Щусев был подчинен лично ему. В результате Щусеву пришлось отказаться от колонных ротонд. Второй деревянный мавзолей был построен к маю 1924 года в виде трибуны, функция которой явно преобладала над функцией гробницы.

В январе 1925 года постановлением ЦИК СССР был объявлен конкурс на постоянный мавзолей. В программе было указано, что центром композиции должна была стать «трибуна, рассчитанная на вмещение президиума всенародного собрания на Красной площади с самостоятельно выдвинутой трибуной для оратора» Конкурс результатов не дал. Нет данных о том, что были присуждены обещанные 10 премий. Опубликованные проекты (например, Шехтеля, Руднева) действительно выглядят странно. Видимо, это была первая ласточка будущей сталинской эпохи. Если объявленный архитектурный конкурс по какой-то причине Сталина больше не интересовал, результатов просто не было. 1925-1929 годы – время напряженной борьбы за власть в партийном аппарате. В советском обществе – разброд и шатания. Трибуна для некоего нелепого «президиума всенародного собрания» да еще с кафедрой для одиночного оратора (Троцкий мог бы воспользоваться такой трибуной, но никак не Сталин) в планы Сталина никак не входила. Поэтому до 1929 года, до полной победы над всеми оппозициями – пауза. Деревянный временный мавзолей на пять лет превратился в постоянный. Весной 1929 года «выяснилось, что незачем объявлять новый конкурс, так как образ деревянного Мавзолея... выдержал испытание временем». Кем выяснилось, источники не уточняют, но это совершенно ясно. Только Сталин в тот момент мог принять такое решение. Главой правительственной комиссии по разработке проекта

был назначен Ворошилов, а строительством руководил секретарь ЦИК СССР Енукидзе. Оба – ближайшие сталинские соратники. Ворошилов без всяких конкурсов поручил разработку проекта Щусеву. Поначалу Щусев начал менять облик здания. Сохранился эскиз, в котором мавзолей превратился в довольно высокую ступенчатую пирамиду. Были варианты асимметричные, с экспрессивно вынесенной на угол трибуной. Тут явно сказалось увлечение Щусева конструктивизмом.

Но «правительственная комиссия» асимметричные варианты отклонила и высказала пожелание «сохранить в каменном мавзолее облик деревянного мавзолея» Такой вариант проекта и был в конечном счете утвержден. Строительство началось в июле 1929-го, велось в лихорадочном темпе и было закончено осенью 1930-го. Как писал журнал «Строительство Москвы», «Красная площадь – сердце Москвы – приобрела новый облик. Закончено сооружение величайшего в мире памятника Ленину – нового мавзолея». Этот год – 1930-й – кульминационный для Сталина. Разгромлена оппозиция, и у него развязаны руки. В стране ликвидирована частная экономика. Строятся Беломорканал и бесчисленные военные заводы. Идет коллективизация. Проведены первые процессы «вредителей» – «Шахтинский процесс» (1929) и «Дело Промпартии» (1930). Приговор подсудимым из «Промпартии» объявлен через месяц после окончания строительства мавзолея. Внезапное и срочное строительство каменного мавзолея – несомненно часть общей программы действий. Мавзолей – не просто склеп. Это, как было сказано, «величайший памятник Ленину». И совершенно ясно, кто должен стоять на его трибуне. Следующим шагом в этом направлении будет проектирование действительно громаднейшего (полкилометра высотой) памятника Ленину в виде Дворца советов. Всего через три года, и совсем рядом с Красной площадью.

Стилистически мавзолей принадлежит предшествующей эпохе. В нем, несмотря на классические детали, отчетливо чувствуется привкус конструктивистского кубизма, которым увлекался Щусев в 20-х годах. Но одновременно крохотный мавзолей – откровенный прообраз чудовищного постамента под статую Ленина в иофановском проекте Дворца советов 1933 года. Стилистически мавзолей в прошлом, но функционально – в будущем. Сталин все эти годы явно обдумывал формы, которые должен был принять заложенный им культ Ленина. Практически во всех проектах архитектурного конкурса на строительство Дворца Советов появляется статуя Ленина. В конечном счете она вырастает до сотни метров и занимает место на верхушке ступенчатого постамента в окончательном проекте Ифофана, Щуко и Гельфрейха 1933 г. Уже второй деревянный мавзолей был первым в истории примером совмещения гробницы и

трибуны для вождей – наследников умершего. Совмещение гробницы с храмом – бывало, а с трибуной – нет. Правда, следует отметить, что трибуна как самостоятельное здание – вообще чисто советское, по крайней мере поначалу, явление. Раньше такой функции не существовало. Никогда вожди не принимали парадов, стоя на специально построенном здании. Следующий хронологический пример – стадион для партийных съездов в Нюрнберге, заложенный в 1937 году. Это сооружение того же порядка, что и мавзолей – и функционально, и отчасти, стилистически. Мавзолей строился в тот момент, когда до официального введения нового сталинского архитектурного стиля весной 1932-го оставалось около двух лет. Но сталинская атмосфера в советской культурной жизни уже была уже единственной возможной, а следующие шаги по реформированию советской архитектуры уже были запланированы.

Первый этап конкурса на Дворец Советов был объявлен в феврале 1931 года, а задумывался Сталиным на несколько месяцев раньше. Можно предположить, что обсуждение последних вариантов проекта Мавзолея летом 1930-го и программы будущего конкурса на Дворец Советов шли одновременно и представляли собой единый процесс выстраивания архитектурного воплощения культа Ленина. Работа над мавзолеем определила на годы вперед судьбу не только Алексея Щусева, но и Константина Мельникова, автора саркофага Ленина для второго деревянного мавзолея. Согласно мемуарам самого Мельникова, написанным в 1965 г. и хранящимся в музее им. Щусева в Москве, Мельников 22 февраля 1924 года получил предложение участвовать в конкурсе на проект стеклянного саркофага для сохранения тела Ленина. Имена других участников Мельников не называет, только упоминает, что среди них он был самый молодой. Проект нужно было сдать в семидневный срок, и подан он был 29 февраля 1924 г. Правительственная комиссия по увековечиванию памяти Ленина под председательством Дзержинского присудила Мельникову первую премию. Дальнейшую работу над саркофагом согласовывал член комиссии Леонид Красин. Как пишет Мельников, в качестве окончательного был согласован пятый вариант. На время проектирования и изготовления саркофага Мельников превратился в чрезвычайно важную персону: «У меня в памяти не совсем точно сохранился порядок деловых визитов – но одно осталось ясным до сегодня, это то, что с того исторического момента я приобрел необыкновенную власть для действий. В кабинет заместителя (фамилию не знаю) тов. Дзержинского прямо с Лубянской площади я входил без пропуска. У подъезда моей квартиры на Петровке дежурили машины, и я часто встречался с тов. Беленьким от Г.П.У.». Судя по этой цитате, Абрам Беленький отвечал за строительство мавзолея и саркофага по

линии ОГПУ. Как вспоминал сам Мельников: «Архитектурная идея моего проекта состояла из четырехгранной удлиненной пирамиды, срезанной двумя противоположно наклонными внутрь плоскостями, образовавшими при пересечении строго горизонтальную диагональ. Таким образом, верхний стеклянный покров саркофага получил естественную прочность от прогиба. Найденная конструктивная идея исключила необходимость обрамлять стыки частей саркофага металлом. Получился кристалл с лучистой игрой внутренней световой среды».

Проект оказался слишком сложен для реализации, и в июне 1926 г. был утвержден более простой вариант, представляющий собой стеклянную призму с четырьмя наклонными стенками, стоящую на массивном дубовом постаменте. Уже через несколько месяцев, в конце 1924 г., Мельников выигрывает еще один важный правительственный конкурс – на советский павильон на международной выставке в Париже 1925 г. Вопрос о том, в какой степени вся, более чем успешная, карьера Мельникова в 20-е годы была обусловлена его правительственными связями, возникшими в процессе проектирования саркофага Ленина, – это несомненно тема исследований будущих биографов Мельникова. Трудно сомневаться, однако, что именно эти связи позволили ему построить в Москве в конце 20-х годов собственный знаменитый особняк (случай исключительный для советской эпохи). И можно предположить, что именно старые связи (скорее всего, в ОГПУ и партийной элите, а не в профессиональной среде) позволили Мельникову физически уцелеть и даже сохранить за собой этот особняк, когда карьера его в 30-е годы пошла под откос.

Алла Мелентьева

СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ

Паша ехал в Москву в купейном вагоне. Все время щупал в кармане прозрачную папочку с документами. Он приколот ее к карману булавкой. Для надежности, чтобы не украли. Неудобно было, но Паша терпел. В Москве Паша пошел прямо с поезда трудоустроиваться. Офис оказался роскошнейшим особняком. Паша, когда его вели знакомиться к будущему начальнику, углядел краем глаза, как сотрудница закатывает в отдел тележку с пирожными и бутербродами. Прямо целые горы пышных пирожных, а бутерброды, кажется, были с семгой, а может, и с красной икрой.

– У вас сегодня праздник, торжество? – спросил он девушку-администраторшу, которая его сопровождала.

– Да нет, обычный ланч для сотрудников. Мы их кормим на рабочем месте, чтобы у наших сотрудников мозги на быт не отвлекались, – с некоторой даже гордостью пояснила она.

Будущий начальник оказался парнем лет, максимум, тридцати.

– Рад познакомиться, – сказал будущий начальник, пожимая ему руку. – Ничего, что сразу на ты? Тут все со всеми на ты. Демократия.

Паша сказал, что ничего.

– Я – Михаил, – представился начальник. – Просто Михаил. Без отчества. У нас тут все без отчества.

– Демократия, – сказал Паша.

Они сели друг напротив друга за большой и с виду очень дорогой стол. Помолчали.

– Ну в общем, добро пожаловать в коллектив, – сказал Михаил, шмыгнув носом. – Извини, тороплюсь – в Германию сейчас улетаю. В головной офис. Давай по-быстрому разрулим. С контрактом ознакомился?

– Ознакомился.

– Всё устраивает?

– Ну как бы да.

– Документы привез?

– Угу.

– Ну и отлично. Марина, – крикнул он секретарше в другой комнате. – Проведи человечка в отдел кадров. А я помчался тогда.

Он сорвался со стула, снова пожал Паше руку и убежал – настолько сильно спешил в Германию.

В отделе кадров девушка смотрела какой-то фильм в компьютере.

– Давайте трудовую книжку, – сказала она, мельком взглянув на Пашу.

Паша отдал трудовую книжку.

– Идите теперь в бухгалтерию, получите деньги, – сказала кадровичка.

– Какие еще деньги? – удивился Паша.

– Ну как – какие? Деньги. На квартиру. Вы иногородний, вам надо будет квартиру в Москве снимать. Вот и получите. На работу вы выйдете... – она шустро повернулась к календарю на стене и посчитала, тыкая карандашом в квадратiki чисел, – двадцать пятого.

В бухгалтерии ему отвалили много денег. Паша ошалело смотрел на стопки. Купюры были крупные, новые, красивые.

– Берите ваши деньги, – брезгливо сказала пухлая бухгалтерша. – Карта ваша еще не готова, придется наличкой.

Паша сгреб деньги со стола.

– Можно уже идти? – спросил он, сглотнув.

– Нет, – сказала бухгалтерша. – Это были квартирные, а сейчас я вам выдам командировочные. Расходы на транспорт. Вам же придется переезжать из вашего Бобруйска.

– Я не из Бобруйска, – сказал Паша. – Бобруйск в Белоруссии, не в России.

Бухгалтерша проигнорировала это. Она сосредоточенно клацала мышью в поисках ведомости. Нашла, распечатала и снова отвалила Паше много денег. Паша расписался и вышел из бухгалтерии. И вообще ушел из офиса. Пошел напрямиком на вокзал, дождался обратного поезда и уехал из Москвы к себе домой. Ночью в вагоне никак не мог заснуть, всё время думал о том, как же это так получилось, и что теперь будет дальше.

Он вляпался во всё это почти случайно. У себя дома, в «Бобруйске», работал программистом в одной шарашке. Такая контора на двенадцать включенных айтишников, которые целыми днями упорно пялятся в экраны компьютеров, как будто те им говорят что-то жизненно важное. Платили немного, но все же больше, чем, допустим, зарплата школьного учителя.

Один раз Паша, бродя по интернету, набрел на сайт большой московской компании, где в разделе «вакансии» всем желающим предлагалось пройти тест на знание программирования. Задания были замысловатые, но все же решаемые. Паша все их решил – просто так, для развлечения. Решил, отправил и благополучно забыл. Но после этого с Пашей по электронной почте связались москвичи, сообщили, что хотят забрать его к

себе, прислали ему шаблон контракта и велели, чтобы он пришел в филиал Сбербанка и получил блиц-перевод на оплату поездки в Москву. Вот так всё и получилось. Сработал принцип социального лифта.

В общем, довольно простая история. Почти обычная. Паша слышал о таком. В среде программистов карьеры именно так и делаются: сидит себе кто-нибудь в Бобруйске, скромно пишет программы, а потом наверху замечают его наработки – и вот он уже где-то в Силиконовой долине, и уже миллионер. Такие крутые взлеты бывают – глазом моргнуть не успеешь. Пока Паша ехал в поезде, он постепенно приучал себя к мысли, что теперь его жизнь круто изменится в лучшую сторону. К концу поездки Паша был уже морально готов к переменам. Но оставалось одна сложность: как лучше преподнести эту новость родным и близким. Дело в том, что никто из родных и близких не знал, зачем Паша уехал в Москву. Они даже не знали, что Паша именно в Москву уехал. Он им не сказал. Перестраховался на всякий случай. Чтобы лишних слухов не было, чтобы не засмеяли потом, если что. Паша вообще был довольно скрытным. Соврал всем, что его фирма отправила его на соревнования по шахматам в соседнюю область. Прimitивный отмаз – кого сейчас от работы на турниры по шахматам посылают? Это только в советское время такое было. Но странное дело, все поверили. Наверное, потому что в провинции народ простоват и никак не может отвыкнуть от советского прошлого.

Прямо с поезда Паша пошел на работу. Собственно, он там уже не работал – как раз перед поездкой забрал трудовую. Устал от однообразия. Московская вылазка просто стала поводом. Даже если бы московская фирма его не взяла, он все равно бы уволился.

А на работу он пошел, потому что ему надо было где-то отсидеться до конца рабочего дня. Паше не хотелось, чтобы дома узнали, что он круто поменял свою жизнь. Пусть подождут до поры до времени.

На работе его по старой памяти пустили посидеть в интернете. Паша целый день лазил по сайтам агентств недвижимости и подбирал себе съемную квартиру в Москве. Рядом на стуле стояла сумка, набитая деньгами. Паша время от времени на нее поглядывал. Иногда даже брал в руки и щупал, приоткрывал, внутрь заглядывал. Сумка была старой, но с деньгами внутри выглядела, словно ее обновили. Загадочная энергия от шла от нее. И запах от купюр исходил волнующий – свежий и терпкий. Как от хорошего мужского одеколona.

Вечером Паша как ни в чем не бывало вернулся домой. Как будто бы с работы. Он небрежно задвинул сумку с деньгами в угол и пошел на кухню варганить себе ужин. На кухне сидел пашин папа.

Папа у него был проблемный. Паша с ним основательно намучился с

тех пор, как четыре года назад умерла от онкологии мама. Папа был молодой работающий пенсионер – совершенно безбашенный продукт советского времени. Он привык во всех серьезных вопросах верить телевидению и радио. А все несерьезные бытовые вопросы он передавал на рассмотрение пашиной маме. Когда мама умерла, папа стал по привычке передавать решение всех бытовых вопросов Паше как старшему сыну. С бытовыми вопросами Паша еще кое-как справлялся, но он был бессилён против веры папы во всё, что говорили ему из радио и казали в телевизоре. Особенно ужасны бывали кредиты, которые папин папа всё время брал на какие-то ненужные вещи. Паше потом приходилось долго их погашать.

Когда Паша вошел в кухню, папа сосредоточенно крутил настройку радиоприемника, ловя Эхо Москвы.

– Ну, как съездил? – Спросил папа сына, не забывая чутко прислушиваться к шумам радиоволн.

– Нормально, – сказал Паша.

– Мм-м, – неопределенно отреагировал папа. Ему наконец удалось поймать Эхо Москвы. Там ведущий препирался с участником передачи. И гость, и ведущий словно показывали мастер-класс остроумия. Они как бы приглашали пашиного папу посмеяться вместе с ними. Папа так и делал: смеялся, всхлывал, хихикал и хмыкал в нужные моменты. Потом передача закончилась. Папа оторвался от радиоприемника и сказал Паше:

– Утром рекламку бросили в ящик – «скидки 30% на всю технику». Подумываю, вот: не взять ли нам в кредит новый ноутбук? Старый-то – скоро того. Концы скоро отдаст. Так надо бы новый взять, раз такой шанс.

– Нет! Не надо! – Испуганно откликнулся Паша. Он заверил папу, что старый ноутбук еще послужит ого-го сколько. Уж Паше-то, как компьютерщику, лучше знать. Папа вроде дал себя убедить, но Паша знал по опыту, что в таких делах папе веры нет. «Раз уж он взял себе в голову, что нужен новый ноутбук, то он теперь в любой момент может импульсивно пойти и взять кредит», – подумал Паша. Он представил себе, как начнет зарабатывать большие деньги в московской фирме, и как папа будет их тратить на кредиты. «Он мне всю московскую зарплату потратит. Сколько ни заработай – он всё на кредиты ухнет», – безнадежно подумал Паша.

Поужинав, Паша стал мало-помалу готовиться к переезду. Не собираться, нет. До двадцать пятого еще целая неделя. Так, заранее кое-что уложить, определиться, что брать, а что не брать. В частности, стал искать в квартире свои старые конспекты, институтские еще. Чтобы их достать, Паше пришлось перелезть через своего младшего брата Славика, сидевшего на тахте с ноутбуком – тем самым, который, по папиному мнению, должен был скоро сломаться.

– Как дела? – спросил Паша у Славика, балансируя на шатком подлокотнике и прицеливаясь к коробке с конспектами.

– Хорошо, – пробурчал Славик. Как-то Паша видел в ютубе ролик про кота, которого хозяин научил имитировать человеческие слова. Славик пробурчал свое «хорошо» примерно с той же степенью нечленораздельности, с какой его мог пробурчать тот говорящий кот.

– Хотя немного занимаешься? Программу-то догоняешь? – Спросил Паша.

Брат притворился, будто не слышал вопроса. Он в прошлом году вылетел из лица за неуспеваемость. Влюбился без взаимности, стал страдать, и в результате страданий – вылетел с курса. Пошел трудиться, но так и застрял в курьерах. Понравилось ему видите ли в курьерах. А чем плохо? Полдня отработал, а дальше – домой и сиди себе сколько хочешь в интернете. Зарабатывал он, конечно, мало. Паше приходилось все время подкидывать ему денег на разные необходимые вещи. В ответ Славик обещал, что догонит программу и восстановится в лице. В прошлом месяце Паша дал Славiku две тысячи на зимние сапоги, а он вместо сапог купил на них гитару. Гитара, между прочим, валялась на шкафу рядом с конспектами. «Вот ведь оболтус, – с досадой подумал Паша. – Он уже сейчас сидит на шее, а что ж будет, когда я ему с московской зарплаты начну отстегивать? Небось, и курьерство свое бросит».

Затрезвонил мобильник. Звонила Таня – пашина невеста. Таня была прогрессивная девушка с амбициями. Она приехала в их город из дальнего райцентра. Училась в институте, и главным делом ее жизни было доказать своим однокурсникам, что она не хуже местных. Таня звонила, чтобы поставить Пашу перед фактом, что в субботу он будет сопровождать ее в клуб. Паша терпеть не мог клубы, не умел танцевать и не знал никого из Таниных однокурсников.

– Не могу. У меня на субботу халтура наметилась, надо будет к клиенту ехать, – попытался соврать Паша.

– И слушать не желаю! – Возмутилась Таня. – Отменяй свою халтуру. Все придут с парнями, а я, что же, буду одна, как идиотка? Ты, что, думаешь, мне клубы будут нужны в пятьдесят лет? Я хочу жить сейчас, а не потом! Мне уже двадцать два лет, у меня уже почти вся молодость прошла! Да и вообще, – не быть же мне хуже других!

В ее голосе угрожающе перемешались приказной тон и истерические ноты. Паша струхнул и согласился идти в клуб. Таня мигом повеселела, чмокнула мобильник и отключилась. Паша был раздражен. «Она бы от меня не отцепилась, – думал он. – Прямо ефрейторша какая-то. И как же она любит быть не хуже других».

Он мысленно прикинул, во что могла бы вылиться эта танина страсть,

узнай она о его внезапном карьерном взлете. «Вот перееду я в Москву – а Танька тут же вслед за мной переведется и будет держать фасон – теперь уж перед московскими. А это значит, подавай ей клубы, фитнес-центры и эти, как их, – бутики – в неограниченном количестве. А ну как через пару лет пригласят меня работать в Силиконовую долину. Так ведь Танька и там меня терзать начнет. Там у нее и аппетиты сразу на порядок вырастут. Скажет, например: люди нашего статуса должны иметь дом, как у Джонни Деппа – и не отвяжется, пока я такой дом не куплю».

Чуть позднее в тот же вечер позвонил пашин друг Леша и попросил помочь ему с переездом. Его жена Вика надумала наконец разводиться и собиралась забрать кое-что из его квартиры. Лёша решил сэкономить на грузчиках и попросил Пашу помочь ему таскать викину мебель. Паша согласился – как другу отказать. Все равно ведь делать нечего, пока он болтается между работами. Договорились встретиться на следующий день в десять утра. Паша пришел и протоптался на ледяном ветру до полдвенадцатого. Леша так и не явился. Ближе к вечеру Паша ему дозвонился:

– А-а-а, извини, всё отменилось. Вика передумала переезжать, и как назло сел заряд в мобильнике, – сказал в трубку Леша. – Я только что сам тебе собрался звонить, извиняться, да ты меня опередил.

– Да ладно, всё нормально, бывает», – сказал Паша, но на самом деле обиделся. Заряд, видишь ли, у него сел. Вот всегда он был такой, начал вспоминать Паша, еще в институте он думал только о себе. Паша вдруг вспомнил, как перед выпуском в институт приходили представители одной престижной компании и проводили тестирование. Паша свой тест прошел одним из первых, и потом еще и исправил ошибки в лешинем тесте, но Лешу взяли, а Пашу нет, потому что Леша себя лучше показал на устном собеседовании. И Пашу неприятно поразило, что Леша вел себя потом так, будто он сам получил это место, и будто тест он сдал без пашинной помощи. Вот перееду в Москву, на съемную квартиру, думал Паша, а Лешка, когда узнает, что в Москве есть, где остановиться, тут же туда примчится работу искать. И будет у меня месяцами болтаться за здорово живешь. Удобно же, когда в Москве есть друг с квартирой. А потом найдет какое-нибудь классное место и опять будет хвастаться, что, мол, сам всего добился.

Чтобы развеять неприятное впечатление от разговора с Лешей, Паша посмотрел в угол, где стояла сумка с купюрами. Паша как-то сразу повеселел, на нее глядя. Сумка стояла на виду, почти на проходе. Он никуда ее не прятал, потому что все знали, что в его сумке не могло быть ничего интересного. Паша задумчиво посмотрел еще раз на сумку, вырвал листок из блокнота, и написал на нем:

«Папа и Славик, я уезжаю.

Если позвонит Таня, скажите ей, что в субботу я с ней в клуб не пойду. Если позвонит Леша и скажет, что я ему должен триста рублей, то скажите, что я их ему отдал еще в Новый год, но он тогда напился и не помнит». Он еще немного подумал и приписал к «я уезжаю» слово «надолго». Хотел еще приписать «обратно, скорее всего, не вернусь», но решил, что это будет как-то уж слишком резко. Вместо этого, он написал: «Не волнуйтесь обо мне. Паша».

Потом он пошел и купил билет в Москву на следующее утро. Он мог бы сделать заказ через интернет с доставкой, но ему не хотелось, чтобы кто-то узнал, что он уезжает.

Евгений Минин

ПАРОДИИ

НАЦБЕСТНОЕ

*И Толстому сказали б они: «Отойди».
И сказали бы Фету они: «Не мешай».*

Александр Кушнер

Много тайн у писательской массы внутри,
Оживлённо галдят так, что слышно окрест.
Мне случайно увидеть пришлось, как жюри
Размышляло – кому предназначен Нацбест.

Наблюдал я за спорами, стоя вдали,
На глаза наплывал горьковатый туман.
И Толстому сказали б они: «Отвали».
И сказали бы Фету: «Гуляй, графоман».

ПРОТЕЧНОЕ

*впустую время трачу
как будто в мыслях течь
сам на себя батрачу
и разбавляю речь*

Даниил Чкония

сантехники вздыхают –
хоть их озолоти
все мысли протекают

а дырку не найти
вот в чём их цель святая
я чувствую всегда
когда стихи читаю
что в них одна вода

ШЕВЕЛЯЩЕЕ

*Не баре, чтобы с молоком
пить чай и кушать трюфеля,
и мы сидели за столом,
слегка ушами шевеля.*

Владимир Салимон

Не барин, хлеб не ем с икрой,
не помню вкуса киселя
Зато стихи пишу, порой
слегка ушами шевеля.
Конечно, намекнёт зойл,
открыв сегодняшний журнал –
когда б мозгами шевелил,
то чепуху бы не писал.

НАДЕЖДА

*В Израиле нету незримых клешней
и всё по-другому во всём,
и Богу отсюда гораздо слышней,
какую херню мы несём.*

Игорь Губерман

Я Бога своими стихами дразню,
не чувствуя старости гнёт:
ОН слышит, какую несу я херню,
и точно – к себе не возьмёт!

ПИПИСНОЕ

*Даже если гуляю барбосов
с грубой целью «а-а» и «пи-пи»,
у тебя не должно быть вопросов –
это тоже в порядке любви.*

Сергей Гандлевский

Если утром, гуляя собаков,
на верёвочке или цепи,
знай – прогулки исход одинаков –
будет только «а-а» и «пи-пи».
И в стихи, признаюсь, между прочим,
я вставляю любые слова,
оттого-то порой между строчек
где попало «пи-пи» и «а-а».

НЕВЫНОСНОЕ

*Всё время забываю вас спросить –
Меня не слишком трудно выносить?*

Лариса Миллер

Я вам пишу – ответить нужно вам –
Вас не достал моих стихов бальзам?
Литературный опыт за плечами –
Вот и рифмую днями и ночами.
Читательским презрением казня,
Я знаю – не выносите меня.
И выносить, прошу вас всех, не надо,
Как мебель устаревшую со склада.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Аросев Григорий Прозаик и критик. Автор сборника рассказов «Записки изолгавшегося» и биографической книги «Одна на всех». Публикуется в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Звезда», «Вопросы литературы». Некоторые его произведения переведены на немецкий и другие языки. С недавних пор переехал из Москвы в Берлин.

Борычев Алексей Автор девяти поэтических книг. С 2009 по 2011 год являлся редактором отдела поэзии журнала «Новая литература». С 2007 года – постоянный автор журнала «Юность». Стихи публиковались в периодике России, Украины, Казахстана, Молдовы, Германии, США, Финляндии, Израиля, Австралии.

Бутов Михаил Известный прозаик, критик, лауреат Букеровской премии за роман «Свобода», зам. гл. редактора журнала «Новый мир». Повести и рассказы Михаила Бутова печатались в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов» и переводились на все основные европейские, а также восточные языки. Живет в Москве.

Гринберг Семён Поэт, участник знаменитого «Самиздата века», начинавший в не менее знаменитой литстудии клуба «Факел», где можно было встретить молодых тогда Юрия Карабчиевского, Станислава Красовицкого, Валентина Хромова, Леонида Черткова, Андрея Сергеева, Генриха Сапгира, Игоря Холина и многих других талантливых поэтов. С. Гринберг широко печатается в периодике России и русскоязычных изданиях зарубежья. Живёт в Иерусалиме.

Дубаев Максим Поэт, прозаик, член Союза Писателей, член Международного ПЕН-клуба, автор серии книг о художнике Николае Рерихе, в том числе – в известной серии ЖЗЛ. Активно публикует стихи на сервере Стихи.ру. Лауреат литературных премий «К. М. Симонова» и «В. С. Пиккуля». Живет в Москве и в Берлине.

Жукова Виктория Прозаик, член СП Москвы, член Международного СП, автор 5 книг повестей и рассказов. Имеет многочисленные публикации в берлинских журналах и альманахах. Живет в Берлине.

Костюнин Александр Родился в Карелии, с. Паданы Медвежьегорского района. Окончил художественную школу в г. Медвежьегорске, Петрозаводский государственный университет. За сборник рассказов

и повестей «В купели белой ночи» писатель отмечен званием лауреата премии им. А. И. Куприна с вручением знака «За вклад в русскую литературу», а также эта книга по итогам литературного конкурса 2007 года в номинации «Повести и рассказы (малая проза)» отмечена как «Лучшая книга года».

Кулаков Сергей Закончил театральный институт, работал актером. Пишет стихи, прозу, пьесы, переводит англоязычных поэтов: У. Б. Йейтс, Э. По, Р. Фрост, Д. Донн, У. Блейк и др. Публиковался в журналах: «Сибирские огни», «Союз писателей» (Харьков). Живёт в Крыму (Ялта).

Мелентьева Алла Филолог по образованию, пишет книги и сценарии. Дебютный роман вышел в издательстве Лимбус пресс. Лауреат премии им. Марка Алданова. Родилась в Донецке, живет в Киеве и Санкт-Петербурге.

Минин Евгений Поэт, пародист, издатель. Автор трех сборников стихотворений, а также текстов песен. Член СП Израиля и Москвы, координатор Международной Ассоциации писателей и публицистов (МАПП). Издатель альманаха «Иерусалимские голоса» и приложения к альманаху «Литературный Иерусалим» Лауреат конкурса «Пушкинская лира» / США/.

Никитин Евгений, Алёна Чурбанова – из поколения 30-летних прозаиков. Пишут прозу в соавторстве. Е. Никитин, родом из Молдавии, публиковался и как поэт в журналах «Знамя» и «Октябрь». А. Чурбанова родилась в Арзамасе, печатала свои рассказы в региональных изданиях.

Нойман Мелита /Melitta Neumann/ Родилась в немецкой колонии на Украине, вместе с родителями в годы войны была вывезена в Германию. После возвращения в СССР десять лет жила в Архангельской области, потом в Казахстане. Окончила Институт иностранных языков (факультет германистики). Перевела ряд произведений Пушкина, Маршака, Бродского. С 1980 года проживает в Германии.

Резник Наталия Родилась в Ленинграде, закончила Ленинградский политехнический институт. Пишет стихи и короткие рассказы. Обладатель призов на литературных конкурсах «Пушкин в Британии», «Эмигрантская лира» и других.

Татаринев Артем 31 год, математик-программист. Публиковался в журналах «Дети Ра», «Номо Legens», «Флорида» (США), «LiteraruS» (Финляндия). Живёт в Тюмени.

Турицына Нина Прозаик и переводчик. Публикации – Юность, Аврора, Невский альманах, Урал, Бельские просторы, в Канаде и в журнале «Эдита» в Германии. Две книги прозы, премия в Международном конкурсе переводов Актора 2012, лонг лист Бунинской премии 2013 года.

Фадин Вадим Член союза писателей Москвы и союза писателей Германии (Verband Deutscher Schriftsteller in der IG Medien). Публиковаться начал в 1963 году. Стихи, рассказы, эссе В. Фадины широко печатались в периодике России и в зарубежной русскоязычной прессе. С 1996 года В. Фадин живет в Германии.

Филимошкина Наталья Родилась в г. Печора, республика Коми. Окончила Днепропетровский национальный университет. Участник Фестиваля русской литературы на Украине – 2011 в Киеве. Серебряный Витязь – 2014 в номинации литература для детей и юношества. Лауреат II Международного конкурса на лучшее произведение для детей «Корнейчуковская премия» – 2014». Шорт-Лист «Верность родному слову 2010-2011». Живёт в Днепропетровске.

Хмельницкий Дмитрий Родился в 1953 году в Москве. Окончил институт им. И. Е. Репина в Ленинграде. Архитектор, историк архитектуры, журналист. С 1987 года живет в Берлине. Автор ряда книг и статей.

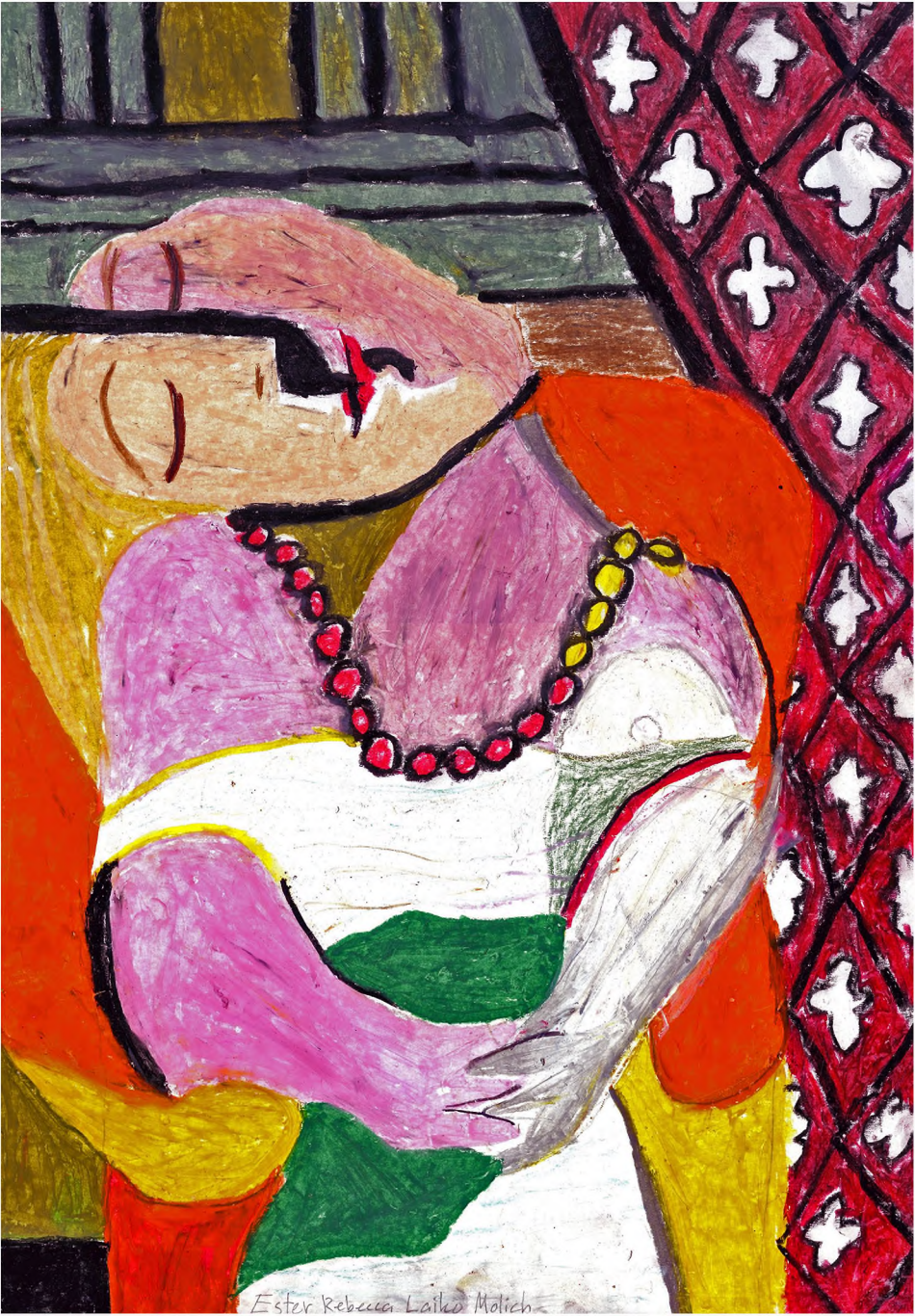
Ходорковский Альфред Родился в Украине (г. Тараща). Окончил филологический факультет Черкасского пединститута. Работал педагогом в школе. Первые стихи и очерки появились в печати в 70-е годы. В 2001 выпустил первый поэтический сборник «Откровение» Затем вышли книги «Возвращение» и книга переводов немецкой поэзии «Далёкое – близкое». С 1995 года живёт в Берлине.

Шереметьева Ульяна Художник и поэт. Окончила ЛСХШ им. Иогансона при Академии художеств им. И. Репина и Московскую государственную художественно-промышленную академию имени С. Г. Строганова. Публиковаться начала в Германии, вскоре после переезда. За эти годы стихи Шереметьевой появлялись на страницах многих антологий и литературных альманахов. С 1993 живет и работает в Потсдаме (Германия).

Шнайдер Виталий Родился в 1954 году в Одессе. В 1962 году вместе с семьей переехал в Таллинн (Эстония). Журналист. Работал в газетах «Наше время», «Эстония», «День за днем», репортером еженедельной криминальной хроники на ТВ. Выпустил в свет три книги стихов: «Прерванный сон» (1996 г.), «Знак совпадения» (2001 г.), «Иные берега» (2008 г.). Живет

в Ганновере. Входит в Союз немецких журналистов (DPV e.V.) и Международную ассоциацию писателей и журналистов (APIA).

Штыпель Аркадий Поэт, переводчик с украинского и английского, постоянный автор поэтического журнала «Арион» и «Новый мир», участник множества коллективных поэтических сборников. Имеет собственные книги стихов «В гостях у Евклида», «Стихи для голоса», «На уровне дыхания», «Вот слова». Лауреат фестиваля поэзии «Киевские лавры». Живет в Москве.



Ester Rebecca Laiko Malich